

## ДЕСЯТЬ ОТЗЫВОВ НА СТАТЬЮ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА

Сергей Ушакин

### «ОСЕНЬ, ДОПОЛЗЕМ ЛИ, ДОЛЕТИМ ЛИ ДО РАССВЕТА?»

Для любого антрополога филологи — в широком смысле этого понятия — одно из самых информативных «племен». Профессиональная *рефлексия* по поводу сложившихся и складывающихся символических структур и практик у этой группы неразрывно связана с ее непосредственным участием в *производстве* (и воспроизводстве) и символических конфигураций, и тех ценностных иерархий, благодаря которым такие символические структуры и практики становятся возможными. Говоря иначе, для антрополога, филологи-практики — это своеобразный вариант структурирующей структуры, одушевленная инструкция по употреблению национальной культуры. Филологическая версия «инструкции» — далеко не единственно доступная на символическом рынке, но зачастую она — одна из самых детальных.

Очевидно, что манифест Сергея Козлова о целях и функции филологии в российском обществе — с его акцентом на непреходящих исследовательских ценностях, творческой автономии и методологической прагматике — только к филологии не сводится. В этом плане манифест — это, разумеется, метонимия; точнее — синекдоха, ведущая к более общим тенденциям (или «трендам»?) в российской гуманитаристике. Два позитивных тезиса Козлова — «примат материала над методом», с одной стороны, и ситуативность методологического выбора («метод подбирается для каждого случая отдельно»), с другой, — призваны противостоять, соответственно, актуальности («методологическая конъюнктура») и каким бы то ни было телеологическим стремлениям обозначить векторы развития гуманитарных наук в будущем («прогнозирование»). Иными словами, цель вещиности/вечности материала — подчеркнуть зыбкость и эфемерность («модность») интерпретационных методов. В свою очередь, эта же сиюминутность методов служит отправной точкой для апологии методологической бриколажности; сознательная установка на «эклектизм» позволяет уйти от (упреков в отсутствии) целостности — теоретической, стилистической или, допустим, социально-организационной.

В приматах, обозначенных Козловым, нового немного: фетишизация материала и связанный с нею отказ от (далеко идущих) обобщений становится визитной карточкой гуманитарных и общественных наук в современной России. Социология и история давно задают тон в этом процессе; литературоведение, судя по всему, тоже встает на этот путь. Принципиальным для меня в этом процессе являются не сами дисциплинарные фетиши и тотемы, но *механизм смещения*, на котором строится любая фетишизация. А именно: проблема «приматизирования» материала и методологической эклектики не в том, что они отказываются «быть актуальными», а в том, что подобная исследовательская позиция изначально ориентирована на оформление материала

«вне фабулы», то есть вне связной парадигмальной рамки, способной произвести внятнейший организационный, эстетический или, скажем, эмоциональный эффект<sup>1</sup>. Фетишизм и эклектика *структурно* оставляют за скобками то самое «ценностно-направленное отношение» к действительности, о пагубном отсутствии которого справедливо говорит Борис Дубин в своем отклике на неманифест Сергея Козлова. Фетишизация материала — как и любая фетишизация — нормализует «подслеповатость и однобокость» исследователя, сводя суть мотивации исключительно к личному «интересу». Без общего «ценностно-направленного отношения» потенциальная трансгрессивность методологической эклектики, обусловленная гетерогенностью ее интерпретационных тактик и мультифасеточным типом ее оптики, превращается в заурядную «мультипарадигмальность», в эпистемологическую окрошку с высохшим фабульным квасом.

В своей важной работе, посвященной вопросам памяти в послевоенной Германии, Эрик Сантнер показывает, как сходная функциональная гипертрофия материала фактически трансформировала *Alltagsgeschichte*, историю повседневности, из дисциплины, рассказывающей «историю, увиденную снизу», глазами обычных людей, в апологетику индивидуальной подслеповатости. Используя фильм Эдгара Ритца «Родина: хроника в одиннадцати частях» («Heimat: Eine Chronik in elf Teilen», Edgar Reitz, 1984) в качестве своего основного примера, Сантнер обратил внимание на то, как горизонт знания, суженный до особенностей непосредственного опыта («устной истории о пережитом»), собственно, оставляет вне поля зрения все сколько-нибудь значимые социальные события века: уборка урожая в огороде здесь важнее правительственного кризиса, а рождение ребенка — ближе, чем денежная реформа<sup>2</sup>. Без цементирующей фабульной структуры, без общей исторической программы история о нации приобретает в итоге форму каталога вещей и людей, объединенных лишь рамкой экрана.

Если для Сантнера истоки подобной социально-политической подслеповатости лежат, прежде всего, в нежелании подвергать проработке исторические травмы немецкого общества, то в основе похожей по своей структуре подслеповатости, предложенной Козловым, мне кажется, лежит любопытное нежелание признать, что «методы» и «теории» не являются лишь внешними, *техническими* методиками, что в своей основе они тесно связаны не только с материалом, но и с местоположенностью и биографией исследователя. Нежелание это, впрочем, непоследовательное, и мне кажется, что тезис о «техничности» методов для Козлова — это, скорее, полемический прием; в конце концов, в отличие от инструментального восприятия методов, суть исследовательской мотивации Козлов трактует исключительно биографически — как «спонтанное влечение ученого» к чему-то интересному.

Мне сложно понять причины, по которым «методы» вынуждены осесть за чертой «интересности». Для антрополога выработка своего метода, своей интерпретационной модели, своей собственной теории — это неотъемлемая часть работы с материалом. Более того, и само дисциплинарное сообщество в антропологии создается не столько за счет общего корпуса базовых текстов («Пушкин» в антропологии у каждого свой), сколько при помощи посто-

1 *Эйхенбаум Б.М.* Декорации эпохи // *Эйхенбаум Б.М.* Мой временник. С-Петербург: Инапресс, 2001. С. 129.

2 См. подробнее: *Santner E.L.* Stranded Objects: Mourning, Memory, and Film in Postwar Germany. Ithaca: Cornell University Press, 1990. P. 57–102.

янного расширения словаря абстрактных концепций и методологий исследования — от «структур родства» и «ритуалов» до практик «символического обмена» или «аффективных режимов». Собственно, *этнография* — то есть сбор и описание полевого материала — есть лишь начальная стадия движения к *антропологическому* осмыслению, предполагающему перевод «данных», полученных в конкретном месте, на язык, понятный широкому сообществу. Условно говоря, для хорошего антрополога петушиные бои на острове Бали — это всегда лишь повод для того, чтобы принять участие в профессиональных дискуссиях более общего порядка, например о моральных установках, о способах групповой солидарности или о формах индивидуальной идентичности<sup>3</sup>. Соответственно, и восприятие «актуальности» носит в моей дисциплине иной характер: исходная установка на то, что без методологической и нарративной обработки «материал», собранный в процессе этнографического исследования, скорее всего, будет незнаком и/ли непонятен коллегам, требует постоянного внимания к формам концептуализации и аргументации, циркулирующим в профессиональном сообществе здесь и сейчас. Важное и другое — публикация книг и журнальных статей, как и профессиональное продвижение (например, от ассистента к доценту), в американском академическом сообществе во многом базируется на системе внешних отзывов специалистов из близких, но не обязательно совпадающих областей. В данном случае знаки «актуальности», расставленные в исследовании, становятся не столько символами моды, сколько указателями, облегчающими ориентацию в крайне дифференцированном академическом пространстве.

Дисциплинарные различия в понимании роли теории и методов важны, но мне кажется, что сводить *только* к ним суть принципиального противопоставления материала и метода, предложенного Козловым, не стоит. На мой взгляд, в неманифесте Козлова прозвучала — пусть и подспудно — одна тема, которая позволяет отчасти понять причины подобной методологической неприязни. Описывая наиболее удачные примеры новой филологической ситуации, Сергей Козлов последовательно выстраивает довольно четкий дискурсивный ряд: методология не только вторична по отношению к филологическим исследованиям; строго говоря — она вторична и по отношению к самому сообществу филологов-практиков. Как отмечает Козлов: «Главной задачей в сфере методологии <...> стала задача *выбора*». Соответственно и лучшие представители новой ситуации хороши, прежде всего, тем, что могут осуществить «свободный *переход* (выделено мной, — С.У.) от одной исследовательской парадигмы к другой». Понятая таким образом, методологическая грамотность любопытным образом исключает — по крайней мере в рамках неманифеста — какие бы то ни было *собственные* методологические изыски. *Выработка* и *разработка* собственных методов и теорий напроочь вытесняются *выбором* уже сделанного, методологическим «аутсорсингом». Точнее — методологическим импортом.

Методологическая работа в данном случае действительно сводится к примерке и подгонке платья с чужого плеча, к технической адаптации моделей, сформулированных и опробованных Бурдье и/ли Элиасом. Естественной, так сказать, органической, непосредственной связи с методологией в данном случае, судя по всему, не предполагается. Методология — да и теория в целом — оказывается вторичной вдвойне: и в силу своего несоответствия с ма-

3 См.: Geertz C. Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight // Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. P. 412–454.

териалом, и в силу своей временной и географической дистанционности по отношению к филологам-практикам. По большому счету, «вторичность» здесь эвфемизм для «чуждости», если не «чужеродности».

В таком контексте становится более отчетливой социальная и профессиональная значимость «примата материала» и самих филологов-практиков: «интересный материал» — это, пожалуй, «последний плацдарм», где все еще возможна реализация *самостоятельной* исследовательской программы. Фетишизация «материала», таким образом, вполне предсказуемо оказывается не только формой дистанцирования от заимствованных «методов», но и защитной реакцией.

Насколько продуктивна такая позиция? С институциональной точки зрения она мне кажется самоубийственной. Дисциплина, активно сторонящаяся попыток повлиять на интеллектуальную повестку дня академического сообщества, дисциплина, не заинтересованная в экспансии своей тематики и своих способов решения интеллектуальных (и социальных) проблем, дисциплина, не озабоченная увеличением того, что в социологии принято называть «собственной социальной базой», — такая дисциплина обречена не просто на «стадию остывания», а на холодную (и быструю) смерть. С такой «осенью» до зимы можно и не дожить.

И последнее. Об интересах. Я полностью согласен в Сергеем Козловым в определении природы исследовательской мотивации: мы исследуем то, что нам «интересно», формируя эти интересы из пережитого и не совсем забытого прошлого, из семейных историй и официальных хроник, из текучки настоящего и фантазий о будущем, из случайных знакомств и неслучившихся встреч, — короче говоря, из смеси «злобы дня» и «вечных» вопросов. Есть, однако, принципиальное различие между «свободным художником», практикующим «личное искусство» под защитой просвещенного мецената, и филологом-практиком, вынужденным принимать в расчет факт ежедневного сокращения ресурсов, доступных для исследовательских целей в рамках гуманитарных институтов. В 1993 году Стэнли Фиш, ключевая фигура американского литературоведения 1970—1990-х, объяснял свою научную мотивацию так: «Литературная интерпретация, как и доблесть, есть награда сама по себе. Я занимаюсь этим делом потому, что мне нравится то, что я при этом чувствую». Выступая недавно в Принстонском университете, Фиш предложил новую редакцию своей позиции: «Мы занимаемся этим лишь потому, что нам нравится то, что мы делаем. Думать о том, что наша деятельность направлена на то, чтобы сделать мир и людей чуть лучше, — ошибка. То, что мы делаем, не имеет никакого другого оправдания, кроме удовольствия, которое мы от этого получаем, и кроме возможности приобщить к этому удовольствию других. Только это, и ничего больше!»<sup>4</sup> Для Фиша это сближение исследовательского гедонизма с усилиями по его энтропии стало своеобразным подведением итогов собственной академической деятельности, включившей и оглушительный успех кафедры английского языка в Дьюке под его руководством (в 1980—1990-х годах), и оглушительный провал на посту декана Университета штата Иллинойс (в Чикаго) чуть позже, когда планы образовательных реформ Фиша не нашли поддержки ни у его руководства, ни у его коллег. Идея приобщения других к своему удовольствию в конечном итоге стала осознанием простой истины: без такого приобщения вряд ли

4 *Bauerlein Mark. A Solitary Thinker // The Chronicle of Higher Education. 2011. May 15 (<http://chronicle.com/article/A-Solitary-Thinker/127464/>).*

будет долговечным и собственное профессиональное удовольствие. Профессия — дело коллективное.

Как и у Стенли Фиша, с удовольствием и интересом в не-манифесте Сергея Козлова все в порядке; но вот желания приобщить к своему удовольствию других мне у него не хватило. Надеюсь, только мне.

*Принстон,  
6 июня 2011 г.*

Т а т ь я н а В е н е д и к т о в а

## ОСЕННЯЯ ЭСТЕТИКА. И ПРАГМАТИКА

С эстетической точки зрения осень — «пора плодоношения и дождей» (Джон Китс), меланхолии и переживания конечности всего. Осеннее настроение не очень подходит для сочинения манифестов, — Сергей Козлов как раз и предупредил нас в первой строке, что не собирался писать манифест. Но получилось — похоже. Я думаю, в силу радикальности поставленных вопросов: что такое настоящая (строго понятая) филология и кто такие настоящие филологи?

Ответ предложен, в том числе, образный. Филологи — трудолюбивый народ-земледелец, который вынужденно терпит над собой купечески-бюрократическую, прослойку. Народу безразличны торги по поводу сравнительной ценности методов, тяжбы вокруг текущей или будущей теоретической конъюнктуры. В эту суету погружены скорее организаторы-начальники, чем-нибудь научным заведующие, что-нибудь куда-нибудь «продвигающие», ревниво соперничая в борьбе за гранты. А для настоящих филологов разговор о методологии — «лишь динарий кесаря», вынужденная дань, откуп, дымовая завеса, чтобы не мешали заниматься любимым, извечным творческим делом. Люди маленькие и одновременно великие, они пашут себе и пашут, не поднимая головы, свою текстово-историческую почву и благодаря этому, кстати, прекрасно выживают в любых условиях. Какой-нибудь товарец для сбыта у этих хитрых простецов всегда найдется, поэтому, не будучи рыночно ориентированными, они и к рынку вполне приспособляемы и голодать не будут ни при каких условиях.

Такая перед нами возникает картинка — романтическая, лестная для филолога, соблазняющая «подумать о вечном» на свободе (наконец!) от конъюнктурного маневра...

Сергей Козлов — талантливый полемист и в данном случае вкладывает в полемику ровно столько запала, сколько нужно, чтобы сначала иронически усугубить логику потенциальных оппонентов, а потом с ней же изящно ассоциироваться. Он заявляет, например, что разговор о «филологии вообще» опасен, разговор о методологической конъюнктуре условен, а прогнозирование развития гуманитарных наук невозможно, — а потом высказывается по всем трем позициям (заклучив собственные соображения в рамки «чуть большей корректности»). Призыв к профессиональному сообществу сформулирован в форме характерно уклончивого императива: «Если уж мы не можем избежать <сближения филологии с рынком и с модой>, постараемся по крайней мере не следовать покорно за...»

*Следовать непокорно* тем естественнее, что это никак не противоречит базовым установкам филологии, — тем, которых она, с точки зрения Сергея Козлова, стихийно придерживалась «по крайней мере с эпохи Кватроченто». Все это время реальную жизнь нашей науки характеризовал примат истории над теорией, материала над методом, конкретного случая над размахистым обобщением и субъективной интуиции над безличной «технологией». И вот теперь, когда период методологических войн отошел в прошлое, нам открывается привлекательнейшая возможность вернуться к филологии как ее практиковали «величайшие филологи-классики», филологии как «личному искусству».

В какой мере этот призыв отвечает тем перспективам, которые открываются нам из переживаемого момента? На мой взгляд, в небольшой.

На филологических факультетах, где обучаются (временно) или преподают (постоянно) практически все, кто склонен называть себя «филологами», царит нарастающая деморализация. Источник ее — в отсутствии понимания того, *кого* мы (вос)производим под обозначенным выше названием и *для чего*. Для работы в бутиках высокой словесности нужны и приспособлены единицы, а раз так — зачем факультеты? Слухи о том, что вот-вот придут бюрократы-менеджеры и сократят нас за ненадобностью, циркулируют стойко и не способствуют бодрой познавательной активности. Формируются индивидуальные и, реже, коллективные научные деланки, но обмен между ними ограничен отсутствием общего интереса, общего языка и общего, вдохновляющего смысла. Временами всплскивается смутная тоска: нам бы методологический семинар устроить, как бывало, но, разумеется, *не так*, как бывало... а как? — Неизвестно. От тоски успешные семинары не самозарождаются.

Если отвлечься от институциональных дразг и обратиться к «горизонту мысли», мы увидим, что, в полном согласии с оценкой Сергея Козлова, господствуют методологический релятивизм, плюрализм и эклектизм, приоритет индивидуального выбора. Но это не исключает и коллективной творческой стратегии, просто она не обязательно должна иметь привычный вид научного единоверия. Симптоматично стремление сегодняшних гуманитариев обсуждать свои позиции не в терминах методологии, а в таких, как — «взгляд» или «воображение». Последние слабее формализованы, тем не менее целостны и обязательно включают в свой состав рефлексию над субъективной, соучастной позицией исследователя. А главное: в фокус внимания попадают не факты, но акты, процессы, интеракции — не статика структуры, но энергетика «конструктивных сил»<sup>5</sup>. Это относительно новая и важная тенденция.

Оглядываясь на работу коллег-социологов с понятием «социологического воображения»<sup>6</sup>, я спрашиваю себя: каково — и каким может быть — вообра-

5 Ср. мысль В.А. Подороги (в докладе на прошедших в апреле 2011 года Банных чтениях) об антропологии взгляда как единственном условии «прямого усмотрения (до всякой интерпретации) конструктивных сил литературного произведения».

6 Ч. Миллс еще полвека назад предложил говорить о «социологическом воображении» как способности, позволяющей ученому гибко переходить от одной методологической перспективы к другой, неожиданно сочетать идеи, количество и качество, объективизм и рефлексию, проникая в «невидимую суть» повседневно наблюдаемого (см.: *Миллс Ч.Р. Социологическое воображение*. М., 1998). П. Штомпка считает целью социологического образования развитие специфически устроенного воображения — через рефлексивное

жение филологическое? Его нынешние сила и ограниченность обусловлены стойкой привязанностью к языку-как-системе и слову-как-объекту, почитаемым в формах образцовых, рафинированных, музейных, ревниво охраняемым от порчи и профанов. Подобные представления издавна организуют филологическую работу и... действуют как *imagination block*.

Разве это единственная форма «любви к слову»? Почему бы не любить в нем (слове) непредсказуемые потенции коммуникации, способность провоцировать обмен и устанавливать взаимосвязь? Почему в святыне литературного текста не усмотреть лабораторию форм речевого действия, динамичного и вездесущего? Почему не перестать игнорировать опыт заурядных «пользователей» слова — не особо отмеченных «Авторов», а людей вообще говорящих, разговаривающих, слушающих, пишущих, читающих? Почему, иначе говоря, филологии не осознать себя всерьез наукой о *речепользовании* (по аналогии с землепользованием)?

Это более чем естественно в русле дискурсивного и перформативного подходов, которые сегодня распространились стихийно и, я бы сказала, экстенсивно. В том смысле, что глубину и по-настоящему революционную природу происходящего «парадигмального сдвига» мы не прочувствовали пока вполне.

Поэтому, возвращаясь к агрикультурной метафоре, предложенной Сергеем Козловым, я не готова согласиться со скептической умиротворенностью его выводов. Исходя из моего ощущения ситуации, мы как раз не можем себе позволить равнодушия в отношении меняющихся приоритетов, контекстов профессиональной деятельности и направляющих ее институций. Ведь именно институции, как верно заметил Х.У. Гумбрехт, могут поддерживать новое, а порой и создавать условия для его самопроявления.

С прагматической точки зрения на то и осень, чтобы планировать весенние работы.

Н и к о л а й П о с е л я г и н

## ЗАМЕТКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОБ «ОСЕНИ ФИЛОЛОГИИ»

Многие идеи, высказанные в эссе С.Л. Козлова, мне близки и интеллектуально, и эмоционально (например, заключительный призыв следовать продуманным, индивидуальным и внутренне независимым решениям). Это для меня тем более значимо, что С.Л. Козлов и я — люди разного опыта (когда распался Советский Союз, мне было шесть лет), разной культуры, наконец, разных поколений. Вероятно, именно этот поколенческий и культурный разрыв дает о себе знать — постараюсь вкратце выразить те вопросы, которые у меня возникли при чтении текста. Под большинством утверждений С.Л. Козлова я готов подписаться — просто впечатления от того, с чем я согласен, вербализовать труднее, чем некоторые попутно возникающие сомнения...

освоение соответствующих ему языка и строя мысли (*Штопка П.* Формирование социологического воображения. Значение теории // Социологические исследования. 2005. № 10).

Во-первых, мне показалось, что сквозь рассуждения о новом качестве филологии и продуктивной деятельности некоторых отечественных гуманитариев у С.Л. Козлова прорывается ностальгия по прежней филологии, с ее внутродисциплинарными войнами и канонизированными методами (и как за последним неразрушенным каноном он периодически прячется за цитатами из Лидии Гинзбург). Возможно, это лишь аберрация моего читательского восприятия, но если все же не только, то тогда деятельность В.М. Живова и Кирилла Осповата в рассуждениях С.Л. Козлова начинает неявно приобретать черты постапокалиптики. Однако является ли использование концепций Пьера Бурдьё и Норберта Элиаса свидетельством наступления «осени»? Лично для меня усиление рефлексии над собственной методологией и адаптация зарубежных общегуманитарных идей и концепций в качестве теоретического базиса собственного научного исследования — это скорее свойства филологической «весны», вовсе не связанные так непосредственно с рынком и модой. При этом позволю себе высказать предположение, что, вероятнее всего, и для С.Л. Козлова это так: ведь, как известно, уже с начала 1990-х годов и с первого же номера «Нового литературного обозрения» он был одним из наиболее последовательных проводников и пропагандистов всего комплекса тех общемировых гуманитарных течений, которые в советское время в Россию приходили в урезанно-искаженном виде или не могли прийти вовсе. В результате при чтении «Осени филологии» остается ощущение какой-то амбивалентности, которая, скорее всего, проистекает из привнесения в текст оценочности.

Психологически эта оценочность понятна, но в аналитическом комментарии аксиологические предпочтения меня всегда немного настораживают. Авторская система оценок превращается в инструмент довольно прямолинейного идеологического воздействия на меня как на читающего этот текст. Вообще говоря, это нормально (я прекрасно понимаю, что любой текст так или иначе идеологически воздействует на воспринимающего), но в жанре научной аналитики лично мне больше по душе другие дискурсивные стратегии.

Второе недоумение является следствием первого. Меня немного удивило, что С.Л. Козлов, цитируя П.Ю. Уварова, легко относит эпистемологию и методологию к административным ресурсам филологии как социальной институции, однако вслед за этим сразу же обращается к обоим практикам, но и одновременно отрешивается от собственного участия в администрировании, причем в стиле «я и сам когда-то был немножко Савлом...». Скорее всего, это просто недоразумение, которое, разумеется, нисколько не относится к самому С.Л. Козлову, а принадлежит той риторической стратегии, которую он в данном случае избрал.

Третий вопрос связан с метафорикой «Осени филологии» — которой, как мне кажется, здесь немного больше, чем хотелось бы. Интуитивно я понимаю, что Козлов имеет в виду, например, под методологическим миром и методологическим рынком, но эта метафоричность сильно сглаживает и унифицирует картину происходящего в современной гуманитарной сфере. Кроме того, одни и те же метафоры применяются к разным по своей сути феноменам: «рынок» — это и когда котировки дисциплины растут или падают, и когда Михаил Велижев с Кириллом Осповатом выбирают себе методологическое оружие по руке. Разнообразная аксиология, которая тут же примешивается, еще более путает дело, тем более что С.Л. Козлов сам же подчеркивает — они интересуются Пьером Бурдьё вовсе не ради «дискурса методологической актуальности», а во имя идеала высокой науки. Возможно, если не было бы оце-



ночной подкладки — не было бы и недоумения: в конце концов, жизнь вообще сложна и диалектична, а Кирилл Осповат с Михаилом Велижевым имеют право на выбор любых стратегий; ориентируются ли они при этом на филологическую моду и научное время года или нет — это, в конечном итоге, не «хорошо» и не «плохо». Главное — тот результат научных изысканий, который мы видим в их опубликованных исследованиях. И С.Л. Козлов охотно признает, что он не «осенний».

Разумеется, эти заметки вовсе не значат, что я считаю, будто в филологии все замечательно и печалиться не о чем. Я так мелочно придираюсь к словам С.Л. Козлова только потому, что это уже не первое его публичное высказывание, которое я читаю, соглашаясь с большей частью сказанного. И разделяю общий пафос этих текстов — что гуманитарные науки сейчас в кризисе, что необходимо из этого кризиса искать выходы и что всегда есть перспективы, которые даже при самом глубоком упадке где-то потенциально существуют, — нужно лишь найти и развить их. Мало кто готов заниматься этой неблагодарной задачей, и как раз С.Л. Козлов здесь — редкое исключение: уже одно только вышеупомянутое его культуртрегерское стремление ближе познакомиться российскую гуманитаристику с обширным комплексом зарубежных идей и методов, продолжающееся больше двадцати лет, неопределимо (и, я надеюсь, еще даст свои плоды в будущем). Поэтому особенно странно звучит, когда об «осени» говорит именно он: тот кризис, в котором сейчас находятся гуманитарные науки, разумеется, глубже, тяжелее и продолжительнее всех предшествующих, но значит ли это, что все мы являемся свидетелями «самого конца»?

Лично мне все-таки кажется, что смертельный диагноз ставить пока рано. Да, действительно, проблематизировались статус и телеология гуманитарных наук; да, действительно, категория окупаемости стала значить больше, чем категория самозначимости; да, действительно, само понятие научности поставлено под большой вопрос, и утверждения наподобие знаменитого лотмановского — «Литературоведение должно быть наукой» — сейчас выглядят странно (хочется сразу задать вопрос: в каком смысле наукой и в каком смысле должно?). Однако является ли это свидетельством умирания или болезненным, затянувшимся, но все-таки выходом на некий качественно новый уровень? Не знаю, время покажет; тем не менее какие-то признаки переходной ситуации (момента выбора, точки поворота, точки бифуркации — термин в данном случае не важен), как мне представляется, обнаружить все же можно.

Пример: казалось бы, довольно неожиданно за последние два-три года на русском языке (на английском и немецком раньше) начали активно появляться работы, посвященные тем или иным поворотам в сторону социальных наук — по преимуществу антропологическому, эмоциональному, социологическому, но не только. Обращение к этому полю было и раньше, но в последние годы движение активизировалось (скажем, А.Л. Зорин стал пропагандировать теорию Клиффорда Гирца, одну из ключевых для антропологического поворота, еще с конца 1990-х годов, но тогда это вызывало недоумение, а сейчас ссылки на «Интерпретацию культур» повсеместны в эпистемологических спорах).

Другой пример: С.Л. Козлов говорит, что в ситуации нового методологического выбора из тех представителей старшего поколения российских филологов, кто сумел успешно акклиматизироваться, можно назвать лишь В.М. Живова, в то время как молодое поколение русистов адаптировалось

намного легче (называется несколько наиболее ярких имен). Насчет старших поколений — вопрос спорный (думаю, что любой назовет еще хотя бы пять фамилий и у каждого при этом набор окажется индивидуальный; я назову Б.М. Гаспарова, А.К. Жолковского, А.Л. Зорина, О.А. Проскурина, А.М. Эткинда). Но со второй частью утверждения охотно соглашусь, тем более что я сам принадлежу к этому поколению (очень огрубляя — первому постсоветскому) и знаю его изнутри. Многие из этих людей находятся в научном поиске — на мой взгляд, весьма успешном, даже несмотря на вышеперечисленные трудности (а может быть, благодаря им? — ведь положительная сторона здесь — необходимость рефлексии над собственной методологией и эпистемологическими основаниями). Кризисное состояние гуманитарной сферы не отвращает их от — все-таки употребляю именно это слово — научного самовыражения. Гораздо более драматичный сюжет — кризис филологических институций.

В связи с этим у меня возникает четвертое недоумение, которое, конечно, относится уже не к С.Л. Козлову. Он и сам удивляется формулировке вопроса о филологии как о «царице» гуманитарных полей, и здесь я с ним полностью согласен. Только я бы еще добавил, что меня смущает, когда основной формой филологической деятельности становится форма разговора о филологической деятельности. Размышлений, куда ж нам плыть, ежегодно возникает столько, что это уже начинает немного напоминать ситуацию первых лет после революции 1917 года, когда какой-нибудь управленец среднего звена успевал присутствовать на двухстах заседаниях в год, пока вокруг продолжался военный коммунизм. При этом не во всех, но во многих подобных выступлениях отчетливо проступает линия разделения по принципу «свой» / «чужой» — неважно, как именно проявляющаяся и кого/что имеющая в виду под членами оппозиции (самый простой случай — междисциплинарный: между «моей» наукой и «другими» или «моим» методом и «чужими»). Тенденция к самовоспроизводству рассуждений, почему «у них» хорошо, а «у нас» плохо («они» получают больше, чем «мы» / «их» науки котируются выше, чем «наши» / у «них» университеты работают лучше, и вообще, «они» мобильнее и прогрессивнее), много, конечно, говорит об особенностях современной коллективной самоидентификации в славистике, но филологию не только «царицей», но и вовсе наукой уж точно не делает. Другой вариант — сведение методологических и эпистемологических споров к институциональным и финансовым. Лично мне больше нравится, когда, допустим, филолог и правда начинает изучать семиотическую антропологию и пытается применять ее на практике (пусть экспериментально — это даже лучше: канонизации метода, может быть, не произойдет), чем когда он рассуждает в стиле «вот были бы у меня антропологически ориентированная кафедра и спонсорские деньги на это...».

Я уверен, что, в конце концов, все подобные рассуждения просто маскируют страх перед попыткой ренессансного приятия новых методов, теорий, способов концептуализации своего объекта и конструирования себя как объекта исследования; страх перед тем, что к этому новому придется идти методом проб и ошибок (или экспериментов и наработок?). Но, как известно, страх — это то единственное, чего нам всем следует бояться.

MELIUS SPERARE

Читая статью Сергея Козлова, я, признаюсь, невольно вспомнил фразу А.П. Чехова из его письма к А.С. Суворину: «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком»<sup>7</sup>. Известная самоирония Чехова не лишена в этом случае — как, впрочем, и в других его письмах — «здорового цинизма», но в общем характерна для современников, еще помнивших о скандальных спорах вокруг диссертации Чернышевского и «Отцах и детях» Тургенева. Сколь бы сам Чехов ни был далек от ригоризма поклонников Базарова, он, как кажется, не отвергал и их доводов — во всяком случае, выведенный им образ профессора Серебрякова в пьесе «Дядя Ваня» (1896) может считаться хрестоматийным развитием представления о самовлюбленном ученом болтуне, комфортно рассуждающем об искусстве и культуре, вместо того чтобы приносить пользу обществу. Занятно, что и восприятие образа Серебрякова на сцене также не обошлось без критики: ученые, члены Московского отделения Театрально-литературного комитета — Н.И. Стороженко, А.Н. Веселовский и И.И. Иванов — первоначально забаллотировали пьесу, а впоследствии выказывали свое негодование из-за карикатурного изображения заслуженного профессора (по воспоминаниям Николая Эфроса, «в Серебрякове будто бы узнал себя один московский популярный профессор — историк литературы, вознегодовал, что выставили его на публичное осмеяние, другие за него обиделись»<sup>8</sup>. Судя по переписке очевидцев первых постановок пьесы, обидевшимся профессором был Алексей Николаевич Веселовский — популярный лектор и автор известных своей публицистической дидактикой монографий об истории западноевропейского театра и литературы<sup>9</sup>). Вошедший в школьные учебники и прописанный в бесчисленном количестве школьных сочинений образ Серебрякова сегодня можно было бы считать утратившим прежнюю злободневность, но, если задуматься над ним лишний раз, легко счастье устаревшим именно образ (как теряют свою остроту любые слишком часто приводимые примеры), а не ту проблему, которую он собою сценически воплощает. Саму же проблему, быть может, стоит принять как одну из «вечных» для истории гуманитарных дисциплин: какова социальная легитимность последних, что предопределяет их этическую оправданность и, соответственно, убеждение самих гуманитариев в том, что «можно говорить о литературе» и «в то же время чувствовать себя порядочным человеком»?

В ретроспективе этой истории современные дискуссии об утрате якобы некогда главенствующей роли филологии в ряду дисциплин гуманитарного цикла представляются мне поэтому оправданными (и, возможно, дисциплинарно перспективными) прежде всего как еще один повод «поговорить и об этом тоже». Понятно, что для поддержания институционального статуса филологии одной веры в то, что ее предмет — сколь бы расплывчатым он ни был

7 Письмо А.П. Чехова А.С. Суворину от 16 августа 1892 г.

8 Эфрос Н. Московский художественный театр. М., 1924. С. 429.

9 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. М., 1978. С. 411–412.

— важен уже потому, что он соотносится со сферой трудноконтролируемого социального и психологического опыта (любопытства, эмоций, «свободной воли», моральных и этических ценностей), можно считать недостаточным, но и необходимость убеждать в этой важности чиновников, от которых так или иначе зависит благоденствие гуманитарных институций, не следует слишком преувеличивать. Филология, как о том справедливо пишет и Сергей Козлов, исторически менялась, менялась и конфигурация ее содержательных и методологических составляющих, но вопреки всему, что о ней было и может быть сказано обвинительного, она остается психологически привлекательным видом социальной деятельности для тех, кто небезразличен к «разговорам о литературе». Не забудем и того, что изначально в греческой и римской культуре понятие «филология» подразумевало, скорее, ученое и философствующее любопытство, а не какую-то специфическую заикленность именно на литературе и языке (так, по сообщению Светония, упоминающего в трактате «О грамматиках» о Луции Атее Филологе, «имя Филолога, как кажется, он принял потому, что наподобие Эратосфена, который впервые приобрел это прозвище, он занимался многими и разнообразными науками»<sup>10</sup>). Насколько устарело такое — предельно широкое (и при этом, повторюсь, изначальное) понимание филологии? Кто мог подумать еще тридцать лет назад о том, что филологи будут писать не только об «идейно-художественных исканиях», критическом и социалистическом реализме, жанрах, стилистике, доминирующих мотивах и т.д. (и этого «т.д.» было не мало), но вот теперь уже и о кинотекстах, сетевой литературе, «антропологическом повороте». О чем еще? Преемственность филологии проблематична и в синхроническом отношении — здесь я опять же совершенно солидарен с Сергеем Козловым, пишущим об особенностях развития этой дисциплины во Франции и невольно предлагающим сравнить это развитие с тем, что происходило в то же время в других странах. То, что происходит с филологией в современной России, радовать определенно не может, но историческое, содержательное и эвристическое многообразие самой филологии все-таки еще способно внушать надежду на лучшее.

К е в и н М. Ф. П л а т т

## КАТАКОМБЫ ФИЛОЛОГИИ

Неманифест Сергея Козлова — вдохновенная защита автономии гуманитарной науки, добывающей знание в относительной независимости от институционального, социального и экономического давления. Мне думается, гуманитарий должен быть увиден тогда как некое подобие монаха, хранящего культурные сокровища античности через все темные века, в предвосхищении их нового открытия Возрождением. Описанный С. Козловым ученый-практик сидит как отшельник один в библиотеке или архиве. Его или ее работа мотивирована полумистическим актом интуиции и подлежит суду только не-

<sup>10</sup> Цит. по: *Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей*. М.: Правда, 1991. С. 296. (Пер. М.Л. Гаспарова.)

большой группы экспертов или же будет постигнута и признана важной только потомками. «Настоящий ученый» поддерживает пламя знания, несмотря на сокрушительные силы моды, экономической жизни и прагматического социального контроля, включая полицейский надзор. Такое видение благородной автономии ученых не может не вызвать трепета у всякого, кто стремится к жизни исследователя и преподавателя, зиждущейся на глубокой любви к культуре и обучению, — что, как я надеюсь, можно сказать о подавляющем большинстве ученых-гуманитариев.

Но, к сожалению, этот образ — фантазия. Гуманитарное научное знание не пользуется и никогда не пользовалось такой абсолютной автономией. Это утверждение банально до трюизма. Институциональные структуры (университеты, институты, дисциплины, программы, журналы, грантодатели, профессиональные объединения) определяют образовательную траекторию ученого-гуманитария, его профессиональный рост, возможности публикации и условия трудовой занятости. Привилегия выбирать исследовательскую тему по «интуиции» даруется только тем исследователям, которые снискали уважение коллег и достигли институционального авторитета и экономической обеспеченности. Уже по этой причине «интуиция» исследователя, о которой говорит С. Козлов — тоже фантазия. Студент или начинающий ученый-гуманитарий, будучи вполне зависим от старших коллег и академических структур, вынужден выбирать те темы, которые гарантируют его или ее профессиональный рост. К тому времени как он или она становится зрелым ученым, его или ее «интуиция» уже сильно трансформирована, «перевоспитана» — в противном случае он или она не найдет места в профессии. Говоря коротко, нравится нам это или нет, гуманитарное знание имеет место только в определенных институциональных контекстах. Выбор исследовательских тем всегда обязан действию больших социальных и институциональных механизмов отбора специфических форм знания в культуре, которым и отводится привилегированное место. Что это за «большие механизмы», которые руководят нашими исследовательскими действиями и задают нашу дальнейшую карьеру? Не погружаясь слишком глубоко в этот вопрос, можно сказать, что они состоят из культурных канонов, национальных и цивилизационных традиций, образовательных программ и политических событий.

Если не принимать в расчет варианта отказа от всех институциональных позиций и занятия гуманитарными науками в качестве хобби или сокрытого от общества «благородного поиска» (например, писать статьи «в стол», в надежде на новый Ренессанс), я не вижу никакой возможности реализовать предлагаемую С. Козловым модель ученого-гуманитария как практика, ведущего монашеский образ жизни. Как бы ни была привлекательна фантазия об «интуитивном исследовании», я думаю, что в нашей научно-гуманитарной деятельности лучше обходиться меньшим количеством иллюзий. Я разделяю желание найти область внутри академической жизни, где можно будет отстаивать политические и культурные ценности, взлелеянные дорогими мне традициями, и где можно будет создавать прозрачное видение истории, — но успех этого предприятия зависит от нашего понимания институциональных условий, которые и предшествоуют всем нашим исследовательским замыслам. Мы способны разве что отстаивать наше собственное видение, когда мы противостояем этим обстоятельствам и учимся влиять на них и ставить их под свой контроль — но никак не можем притязать на то, что этих обстоятельств не существует.

Что мы видим, когда обращаем серьезное внимание на основные институциональные обстоятельства гуманитарных дисциплин? Ясно, что условия культурной жизни претерпевают значительные изменения, что эти перемены рано или поздно найдут отражение в наших институтах и что наша исследовательская деятельность должна меняться вместе с этим на более глубоком уровне, чтобы не оказаться устаревшей.

Высокая культура — канон великих произведений и национальных традиций в области литературы и искусства — все менее и менее релевантна нынешним глобализированным, технократическим, визуальным, презентистским, современным сообществам. Дальше всего этот процесс зашел в США; но он всемирен. В результате образовательные, социальные и политические приоритеты, на которых в прошлом держалась гуманитарная наука, стремительно истощаются. Мы можем сожалеть об этой трансформации, но мы никуда от нее не денемся. Вопрос, который стоит на повестке дня, — это не «Какой метод мы должны применять к нашим исследовательским темам», но «Как мы можем оправдать наши дисциплины?».

Этот вопрос, конечно, звучит в США несколько иначе, чем в России, ввиду различий между институциональными и дисциплинарными структурами этих обществ. Дисциплина, которой я занимаюсь, — это не филология, а то, что по-русски называется «литературоведение» — в университете я изучал русский Серебряный век, и сейчас я профессор славянских языков и литератур. В английском языке редко употребляется термин «филология». Но это различие между русским и американским контекстами само по себе поучительно и важно. В своей статье С. Козлов упоминает лингвистику и филологию в собственном смысле как две «дисциплины филологического цикла». В США лингвистика уже давно перестала восприниматься как гуманитарная дисциплина: это социальная наука, обычно связываемая с когнитивной наукой, психологией и нейробиологией. С другой стороны, филология по большей части прекратила свое существование как отдельная дисциплина. В США «осень филологии» давно уже завершилась.

Такие судьбы филологии и лингвистики говорят о разных возможностях будущего для дисциплин «филологического цикла» как в США, так и в России. В прошлом гуманитарные дисциплины способствовали самовоспроизводству канонов культурного знания. Ученый-гуманитарий играл важную роль «внутри» культурной жизни — как критик, просветитель и «жрец» культурного канона. Такая модель культурной жизни стремительно отходит в прошлое, и сразу же приходит в упадок традиционная роль ученого-гуманитария. Что делать? Одна из возможностей — продолжать работать так, как мы работали всегда: будучи, похоже, последним поколением филологов в США, мы можем «тонуть вместе с кораблем», уйти в затвор библиотек, стать монахами или отшельниками — священнослужителями без паствы. Или же, как я предлагал в одной статье, ранее опубликованной в «НЛО»<sup>11</sup>, мы можем заново изобрести нашу профессию, изучая культуру, как прежнюю, так и теперешнюю, «извне», — как это сделали лингвисты, революционно преобразовав само изучение языка в последние сорок лет.

*Авторизованный пер. с англ. А. Маркова*

11 *Платт К.М.Ф.* Зачем изучать антропологию. Взгляд гуманитария: вместо манифеста // *НЛО*. 2010. № 106. С. 13–26. См. также дискуссию вокруг статьи К. Платта в том же номере (с. 26–64).

ЧЕРТЕЖ НА ПЕСКЕ

*Рассуждения о тексте Сергея Козлова*

Мне весьма неловко вмешиваться в споры филологов. Традиции академической специализации предписывают скромно молчать в чужом монастыре, поглубже запрятав в карман свой устав. Однако есть по меньшей мере два извиняющих меня обстоятельства. Во-первых, я имел честь быть процитированным Сергеем Козловым. В рецензии на книгу Николая Копосова речь шла о непростых отношениях между «практикующими историками» и «методологами». В антиманифесте про «Осень филологии» подразумевалось, что я, как выразитель интересов «трудяг-исследователей», в определенной степени противопоставляю себя историку-эпистемологу, наделенному некоей административной властью. С тех пор прошло десять лет, роли поменялись. Теперь я руковожу какими-то структурами, за что-то отвечаю, а мой коллега, оставив руководство Смольным институтом, преподает в Хельсинки. Уже одно это может вызвать вопрос: должны ли мы теперь с Николаем Евгеньевичем поменяться местами в нашем отношении к «методологам»?

Во-вторых, «НЛО» сделало многое для слома дисциплинарных барьеров. У историков берут интервью, публикуют их статьи, делают обзоры исторических изданий. А еще есть специфический круг историков, настолько основательно укоренившихся в журнале, что вообще начинаешь недоумевать: а существуют ли еще эти барьеры? Вспоминаю разговор с Александром Строевым где-то в самом конце 1980-х годов:

- Слушай, сейчас столько филологов публикуют, а вот историков чего-то не видно. Есть ли вообще среди ваших сегодня кто-то, кого стоит читать?
- Конечно, есть, — отвечаю, — отчего же. Гуревич вот, Баткин, Бессмертный...
- Ну, ты бы еще Лотмана в этот список добавил! Какие же они историки? Они — наши, филологи. Они интересно пишут.

Помнится, я не согласился с этим заявлением, хотя Лотмана тогда охотно включил бы в список, а сейчас с удовольствием добавил бы еще ряд имен, не забыв и Сергея Козлова.

Дисциплины наши нераздельные, но все же и неслиянные, что иногда приносит благие плоды. Так, например, в структуре РАН филологи и историки объединены в одно отделение и по важнейшим вопросам голосуют вместе. Случается, что это приводит к любопытным результатам. Там, где историки «взвешивают за и против», «входят в положение», «просчитывают варианты», филологи, как им и положено, читают представленные тексты (биографические справки, программы кандидатов на должности, списки публикаций их работ...). В итоге голосование получается непредсказуемым заранее. Что немалая редкость по нашим временам.

Надеюсь, что «НЛО» когда-нибудь предоставит свои гостеприимные страницы для дискуссии о взаимоотношении наших дисциплин. Право же, есть что обсудить. Только пригласить надо еще и тех историков, которые пока не шагнули «за пределы», если использовать определение Кевина Платта<sup>12</sup>.

12 См.: *Платт К.М.Ф.* Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста.

Пока же попробую подойти к тексту Сергея Козлова так, как если бы он был написан об историках, а не о филологах. Насколько призывы к методологической актуальности являются атрибутом администрирования? Рад был бы опровергнуть это обидное для меня предположение, поскольку стараюсь не расставаться с ролью «практикующего историка». Но надо признать, что по самым разным причинам мой список публикаций так же обрастает историографическими статьями и рассуждениями о методах, как днище корабля — ракушками. И это несмотря на присущий мне страх перед методологией. Я вообще сомневаюсь, что какой-нибудь историк действительно работал по заветам Декарта, взяв заранее известный или наново выдуманный метод, применяя его затем на практике. Он просто писал свой труд, который в силу личных способностей, интересов, расчетов и массы других обстоятельств получался таким, а не иным. А уж затем либо он сам, либо ученики, либо критики начинали искать метод в его тексте.

Но вернемся к положению автора о том, что дискурс методологической актуальности является дискурсом не научных сообществ, а научных институций. Для филологов-практиков он призван играть роль «денария кесаря», который надо уплатить внешнему миру. Мне трудно с этим спорить, благо мы с автором «Осени филологии» принадлежим к тому поколению, которому старшие коллеги часто повторяли слова Савельича: «Плюнь, да поцелуй злодею ручку». Но, может быть, это следы тяжелого научного детства, а у тех, кто воспитан в иных условиях, отношение к методу иное, и они воспринимают его иначе, как нечто не внешнее (навязанное если не советской властью, то требованиями ВАК), но внутреннее? Вполне возможно. Однако и в нормально функционирующей научной среде дискурс методологической актуальности играет роль феромонов, сдобривающих научную коммуникацию. Как иначе подать сигнал «я — свой» рецензенту, оппоненту или эксперту, нанятому грантодателем? Правда, как и в любом общении, здесь возможен коммуникационный сбой, и магические слова «антропология», «Делёз» или «когнитивность нарратива» вызовут у кого-то улыбку понимания, но у кого-то реакцию отторжения. Слова Сергея Козлова о том, что при помощи деклараций о методе институции метят свою научную территорию и распределяют ресурсы<sup>13</sup>, особенно справедливы по отношению к историкам, точнее — к московским историкам, необычайно интенсивно плодившим семинары, журналы и научные подразделения, разделенные методологическими установками. Прибавка, ходившая некогда по кулуарам парижской EHES, — «нет историка без семинара» — чуть было не реализовалась в нашем ИВИ РАН, где еще недавно одновременно трудилась дюжина семинаров методологического толка, возглавляемых непременно медиевистами.

Эта констатация входит в противоречие с весьма оптимистическим прогнозом С.Л. Козлова. Исследователь новой формации выбирает из кучи лежащих на его верстаке методов тот, который более подходит для данного материала. Понимая необходимость следования моде, такой исследователь как настоящий мастер способен играть с ней. Думаю, что я не единственный, кто в этой связи вспомнил слово «винтаж», копание в пронафталиненных сундуках с целью найти среди старинных платьев то, что можно иронично соче-

13 Эти ресурсы скудны. Настолько скудны, что хочется увидеть в этом светлую сторону. Там, где Кевин Платт говорит о «привлекательном для карьеры» и «бесперспективном», С.Л. Козлов и многие другие говорят об «интересном» в оппозиции к «скудному».



тать с последними изысками кутюрье. Не менее оптимистичным видится и прогноз-призыв Ирины Прохоровой<sup>14</sup> и Кевина Платта к преодолению дисциплинарных и межкафедральных границ, к созданию среды, способной радикально обновить гуманитарное знание, пусть даже и именуемое филологией. Я не против, особенно если вспомнить, в каком смысле использовал это слово Лосев. И где, как не на научных семинарах и чтениях, создавать такую среду, способную совместно браться за решение новых задач, среду, состоящую именно из таких свободно играющих методами исследователей, о которых говорит Сергей Козлов?

И вот здесь вступают в силу те самые закономерности, которые изучает социология научного знания и о которых писали Жерар Нуарьель<sup>15</sup> и Рэндалл Коллинз<sup>16</sup>. Большинство семинаров и большинство инициативных проектов начинаются с призывов к интердисциплинарности, методологическому синтезу, расширению горизонтов и «многоприятию», участники демонстрируют, что они «слишком много понимают». Но затем неминуемо происходит выделение «твердого ядра» участников, формируются свой собственный язык и своя система авторитетов. Еще несколько усилий — и возникают свое периодическое издание и своя институциональная структура, свои диссертационные советы и своя среда, поставляющая кадры лояльных оппонентов. Структура затвердевает и начинает самовоспроизводиться, демонстрируя односторонность взгляда, иногда творческую. Иногда — не очень.

Может быть, «методологические войны» оттого и кончились, что всю территорию поделили? И конфликты возникают лишь в случаях нарушений границ, как правило, нарушений непредумышленных. Все это естественно и имеет массу положительных результатов. Но непонятно, на какой площадке будет осуществляться чаемый синтез? И не будут ли исследователя новой формации бить по рукам за то, что он хватает с верстака что ни попадая?

Хорошо бы создать семинар, на котором обсуждать семинары, хорошо бы созвать ассамблею, где решались бы важные вопросы и гостеприимно приглашались разные методологии. Трижды я пытался осуществить это на практике, стараясь наладить диалог хотя бы между медиевистами. И трижды это начинание неумолимо превращалось в очередной семинар. На сей раз — «семинар Уварова», с некоей заковыристой методологической установкой. Это и наводит на мысль о том, что перед нами социальная закономерность.

Но если методологии, а с ними и семинары разбегаются все дальше и дальше друг от друга, то как можно наладить между ними взаимодействие, которое абсолютно необходимо? В противном случае научное сообщество утратит свою главную функцию — экспертизы и оценки. Если все возможно, то это уже никакая не наука.

Хочется призвать на помощь Николая Кузанского, писавшего о неразрывных процессах *conglomeratio et exglomeratio centri*. Если с центробежными силами (не без помощи дискурса методологической актуальности) все в порядке, то возможно ли запустить центростремительные силы?

14 Прохорова И. Новая антропология культуры. Вступление на правах манифеста // НЛО. 2009. № 100. С. 9–17.

15 Noiriel G. Sur la «crise» de l'histoire. Paris: Belin, 1996.

16 Collins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge: The Belknap press of Harvard University press, 1998. Рус. пер.: Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

Думаю, что возможно. Но для этого надо разобраться с тем, что же является центром. Если говорить о нашей дисциплине, то для меня таким центром является социальная история, причем взятая в узком значении этого слова. Ведь все важные инновации, приводившие к радикальному расширению круга привлекаемых источников и изменению характера вопросника, изначально не являлись самоцелью, но призваны были помочь именно социальной истории. Вводя понятие ментальности, Жак Ле Гофф<sup>17</sup> и Арон Гуревич<sup>18</sup> были уверены, что без учета этого фактора наше знание о средневековом обществе будет ущербным; когда Нэнси Рёлкер<sup>19</sup> изучала роль женщин в распространении кальвинизма, она лишь хотела сделать социальную историю французской Реформации более полной; когда Карло Гинзбург<sup>20</sup> рассматривал уникальную историю мельника-еретика, он намеревался обратить внимание на ранее недооцененные историками черты итальянского общества XVI века. Однако очень скоро включались все те же механизмы: новые площадки расширявшейся «территории историка» обносились заборами, за которыми выселились обособленные научные школы и направления, наделенные своим языком и своей системой авторитетов. Среди них — история ментальностей, гендерная история, микроистория, историческая антропология, клиометрия, историческая когнитивистика, нарратология, потестарная имагология и многое другое. Каждое из направлений становилось все более самостоятельным. Количественные методы все чаще применялись ради количественных методов, рассуждения о методе велись ради рассуждений о методе. Наблюдался расцвет изучения сюжетов, считавшихся ранее периферийными, при угасании интереса к работе над традиционными темами и понятиями.

Социальная история пребывает в положении короля Лиры. Но все же я продолжаю надеяться, что дочери сами возвратят опрометчивому старику часть имущества. Ведь по правилам игры все участники по-прежнему уверены в существовании некоего центра, понимаемого как оплот традиционализма. Иначе — на чем основывать собственную оригинальность? Центробежные силы предполагают наличие центра не в меньшей степени, чем силы центростремительные. В случае с медиевистами таким подразумеваемым центром является понятие феодализма в его социально-экономической интерпретации. И каково же удивление новых медиевистов, когда выясняется, что этим понятием уже никто не занимается, там зияет пустота!

Я возьму на себя смелость, вопреки разумным предупреждениям Сергея Козлова, начертить на песке схему возрождения обновленной социальной истории. По крайней мере, таковы общественные ожидания, демонстрируемые по отношению к нашей дисциплине. От историков по-прежнему ждут ответа на вопросы о природе государства и сущности процессов политогенеза, экспертных заключений о причинах важнейших исторических событий,

- 17 *Le Goff J.* La Civilisation de l'Occident médiéval. Paris: Art-haud, 1964. Рус. пер.: *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-фактория, 2005.
- 18 О том, как советский медиевист шел к этому понятию, лучше всего написал он сам в автобиографической книге: *Гуревич А.Я.* История историка. М.: РОССПЭН, 2004.
- 19 *Roelker N.L.* Queen of Navarre: Jeanne d'Albret, 1529—1572. Cambridge: The Belknap press of Harvard University press. 1968.
- 20 *Ginzburg C.* Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del'500, Torino: G. Einaudi, 1976. Рус. пер.: *Гинзбург К.* Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН, 2000.

ждут (о ужас!) написания масштабных исторических полотен. И все чаще исследователи (пока еще на индивидуальном уровне) возвращаются к пониманию необходимости работать над сюжетами, традиционно считавшимися базовыми для социальной истории. Площадка социальной истории выглядит удобным местом пересечения всех новых направлений. Гендерная история, дискурсивный анализ, и, предположим, имагология могут вновь сойтись между собой в одних дисциплинарных рамках, лишь предъявив свой вклад в поиск ответа на все тот же неизбывный вопрос: «Как возможно общество?»

Но это, конечно, не более чем чертеж на песке. И я уверен, что у моих коллег есть свои претенденты на роль федерирующего центра.

Но как обстоят дела у филологов? Может, в центре находится все же тот самый литературный канон, отказ от которого, по словам Виктора Живова<sup>21</sup>, ведет к немоте?

Это я не утверждаю, я спрашиваю.

М и х а и л В е л и ж е в

## «ФИЛОЛОГИЯ — ЦАРИЦА НАУК?»

*Заметки к теме*

Предложу несколько тезисов в развитие и дополнение статьи С.Л. Козлова. Интерпретация статуса филологической (как и любой другой) науки может двигаться по трем связанным друг с другом направлениям: образовательному (1), институциональному (2) и методологическому (3). В первом случае речь идет о формах высшего образования, во втором — о самоидентификации профессионального сообщества, в третьем — о прагматике научного исследования.

1. Ответить на вопрос о том, является ли филология «царицей наук», можно, сравнив университетские учебные планы, составленные в определенном культурном пространстве и в определенный момент времени. В данном случае важными оказываются программы не только филологических или историко-филологических факультетов, но и любых других академических институций, в которых преподаются гуманитарные науки. Описание образовательных «филологических» стратегий связано с оценкой рынка труда: какой именно набор учебных дисциплин (говоря о России) скрывается под названием «филологический факультет»? В какой мере эти данные соотносятся со сведениями о преподавании гуманитарных наук на других факультетах? Какая из образовательных моделей избрана для реализации в трехчастной системе бакалавриат — магистратура — аспирантура? В какой мере эта модель учитывает уровень школьного образования? Силен ли состав преподавателей? В какой степени та или иная «филологическая» («историческая»/«философская»/«социологическая» и пр.) программа соответствует критериям успешности, предъявляемым к данному типу образования (почему так происходит)? Замечу, что вопрос, «является ли филологическое образование, по определению, лучше, чем все прочие», — сугубо риторический.

<sup>21</sup> Живов В. Гуманитарные науки: чем мы страдаем и как лечиться // НЛО. 2010. № 106. С. 47.

2. Ничего не говорят нам о «филологии» как системе научных алгоритмов ни анализ границ филологического сообщества, ни исследование статуса и опыта самоидентификации научных групп и институций, связывающих себя с «филологией» или же отвергающих ее. Скажем, на конференциях «историков» (описанный ниже опыт не является исключительно российским) мне довольно часто приходилось слышать упрек (в свой и в чужой адрес): «Вы рассуждаете как филолог, историк исследовал бы предмет иначе». Таким образом, наличие филологического образования у дискуссанта становится предметом серьезной рефлексии и аргументом в чисто научном споре. Понятно, что никакой другой цели, кроме утверждения границ сообщества, эти высказывания не преследуют: интерпретация либо убедительна, либо нет, а уж «историческая» она или «филологическая» — не суть важно. Исследование дисциплинарных рамок включает в себя анализ рынка научных журналов, конференций, книжных серий и других элементов институционального пространства. Мы отвечаем на вопросы: как организовано научное поле? В чем причины и механизмы его эволюции? Почему та или иная группа ученых идентифицирует себя с «филологией», «историей» или «философией»? Какие научные критерии закрепляются за этими дисциплинами (критерии выбора исследовательского сюжета, источников, методологических установок и т.д.)? Издательство «Новое литературное обозрение» издает книжную серию «Historia Rossica»: публикующиеся здесь авторы — по определению, «историки»? Журнал «Ab Imperio» обсуждает монографию А.Л. Зорина «Кормя двуглавого орла», выпущенную в упомянутой выше серии; среди прочих отзывов появляется «взгляд филолога» (Г.В. Обатнин) и «взгляд историка» (М.Д. Долбилов)<sup>22</sup>, о чем это свидетельствует? С какими науками (и в какой исторический период) аффилирована «филология» — с социологией, математикой, историей, философией, политологией, лингвистикой, киноведением, антропологией? В какой мере данная наука связана с идеологическими дискурсивными практиками, которые использует «власть»? — и многое другое.

3. Филологию без кавычек до сих пор обнаружить не удалось. Увы, мало шансов сделать это, переходя к обсуждению сугубо методологических принципов: провести четкую границу между различными науками временами оказывается весьма затруднительно. Зачастую — и это, возможно, наиболее интересные сюжеты в истории науки — ученые выходят за дисциплинарные рамки и конструируют особый объект изучения, который ближе всего не к какой-либо одной из областей знания, а к тому, что принято называть обобщенным понятием «культура» (Н. Элиас, П. Бурдьё, Ю. Лотман и др.).

Приведу еще один, на мой взгляд, чрезвычайно показательный пример: речь о кембриджской школе интеллектуальной истории и ее основателе Квентине Скиннере. В целом, российская гуманитарная наука редко апеллирует к этой полувековой и чрезвычайно влиятельной западной традиции. Исключения составляют исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге, обратившие внимание на работы Скиннера середины 1970–2000-х годов<sup>23</sup>, в которых исследуется исторический генезис респуб-

22 Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: «Новое литературное обозрение», 2001. Дискуссия: Ab Imperio. 2002. № 1.

23 См., в частности, русское издание монографии Скиннера «Liberty before liberalism» (1995): Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. А. Магуна. СПб., 2006; см. также: Скиннер К. Понятие государства в четырех языках: Сборник

ликанских идей — от Древнего Рима через эпоху Возрождения к английским XVI и XVII векам, а затем американскому XVIII столетию. Между тем, огромный интерес представляют и ранние работы историка (второй половины 1960—1970-х годов<sup>24</sup>; так, первая большая статья Скиннера — «History and Ideology in the English Revolution» (1965)<sup>25</sup> — является, по-моему, одним из самых блестящих и замечательных его исследований; кроме того, Скиннер всегда уделял огромное значение методологии гуманитарного знания и много писал об этом). Согласно Скиннеру, существуют правила «интерпретации текста», неважно — литературного, философского или какого-либо другого. Например, при анализе текста невозможно пренебречь историческим контекстом (понимаемым прежде всего как контекст языка политической мысли) и изучать творения только «великих» авторов; нельзя устанавливать каузальные цепочки влияний от Аристотеля до Ницше и утверждать, что А оказал влияние на В, не доказав при этом, что В читал А; неверно считать А предшественником распространенных в XX в. политических теорий, ибо в эпоху А такие проблемы вообще не ставились, и т.д.<sup>26</sup>

Скиннер исходит из того, что любое письменное свидетельство — это акт коммуникации и, следовательно, подразумевает интенциональность (а не каузальность): отсюда необходимо задаться вопросом «What A is doing *by* writing/uttering smth...» (а не «*in* writing smth»). По мнению Скиннера, в данную эпоху и в данном языковом и политико-географическом пространстве в распоряжении автора для выражения его собственной интенции находится определенный набор социолингвистических конвенций, при том что выбор конвенции всегда осознан. Задача историка — выявить эти конвенции и построить их иерархию, тогда мы ответим на вопрос: «Что хотел сказать/сделать автор своим произведением»<sup>27</sup>. Как мы видим, в рамках методологической парадигмы, предложенной Скиннером, вопрос о том, кто — «философ», «филолог» или «историк» — должен заниматься анализом сочинений Т. Гоббса или Т. Мора, просто не имеет смысла. Разумеется, каждый тип текстов требует от ученого особых критических навыков анализа, однако методологическая позиция исследователя остается при этом неизменной<sup>28</sup>.

---

статей / Под ред. О.В. Хархордина. СПб., 2002. Одна из работ Скиннера («Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспективы») была опубликована в журнале «Новое литературное обозрение» (2004. № 66).

- 24 Работы этого периода в переработанном виде вошли в первый — «методологический» («Regarding Method») — том трехчастного собрания трудов Скиннера: *Skinner Q. Visions of Politics*. Cambridge, 2002.
- 25 *Skinner Q. History and Ideology in the English Revolution // The Historical Journal*. Vol. 8. № 2. (1965). P. 151—178.
- 26 Подробнее см.: *Skinner Q. The Limits of Historical Explanations // Philosophy*. Vol. 41. № 157 (Jul., 1966). P. 199—215; *Idem. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory*. Vol. 8. № 1 (1969). P. 3—53.
- 27 См.: *Skinner Q. Conventions and the Understanding of Speech Acts // The Philosophical Quarterly*. Vol. 20. № 79 (Philosophy of Language Number) (Apr. 1970). P. 118—138; *Idem. On Performing and Explaining Linguistic Actions // The Philosophical Quarterly*. Vol. 21. № 82 (Jan. 1971). P. 1—21.
- 28 Подробнее об отношении Скиннера к литературным текстам см.: *Skinner Q. Motives, Intentions and the Interpretation of Texts // New Literary History*. Vol. 3. № 2 (Winter 1972). P. 393—408.

Не менее любопытен научный контекст, в котором Скиннер развивал свои идеи. В начале своей академической карьеры он находился в специфической историографической ситуации: во-первых, британской закрытости от континентальных влияний (как следствие — малая осведомленность о трудах школы «Анналов» и французском контексте в целом<sup>29</sup>), во-вторых, влияния разработанной и очень популярной аналитической философии (британской и американской) и «отсталой» (с точки зрения Скиннера) истории идей А. Лавджоя, которая и станет основным объектом его критики в конце 1960-х годов<sup>30</sup>. Главными же адресатами трудов Скиннера в упомянутые годы часто оказывались не историки, а философы языка (в том числе Дж. Остин с его теорией речевых и иллокутивных актов), осмыслявшие (подобно Д. Дэвидсону и многим другим) поздние работы Л. Витгенштейна<sup>31</sup>. Своими предшественниками Скиннер считал исследователей, принадлежавших к совершенно разным научным дисциплинам: кроме уже упоминавшейся аналитической философии, это социология (М. Вебер), история (Дж. Коллингвуд, П. Ласлетт), история искусства (Э. Гомбрич) и история науки (Т. Кун). В 1973 году Скиннер познакомился с работами Х.Р. Яусса и В. Изера и опознал в их подходе к литературной рецепции методологически близкие ему ориентиры. Одновременно существуют свидетельства и о внимании Скиннера к семиотике Ю.М. Лотмана<sup>32</sup>. Успех Скиннера, как представляется, основан как раз на способности предложить исследовательский алгоритм, нивелирующий традиционные границы между дисциплинами.

Вопрос о статусе «филологии» — это прерогатива историко-социологического исследования о научном сообществе: его образовательной матрице, методологических и институциональных границах. Подобное заключение вовсе не лишает науку ее актуальности, уводя в сферу отстраненного анализа «со стороны»: любой труд такого рода описывает ситуацию, в которой действуют многие из нас. Важно то, что вне очерченных образовательных и институциональных сфер разговоры о «филологии — царице наук» обретают весьма условный характер: наделяя то или иное исследование титулом «филологическое», мы более свидетельствуем не о них, но о себе и нашем сообществе.

В известном смысле междисциплинарность отрицает саму себя. Она не может состоять в насильственном перенесении методов одних наук в другие, не возникает автоматически в конференционных прениях между представителями различных областей знания. Междисциплинарность работает, когда мы перестаем думать о том, представитель какой гуманитарной профессии анализирует научный сюжет, когда мы забываем о дисциплинарных границах, рассуждая об убедительности той или иной интерпретации.

- 29 Во Франции Скиннер и его ученики не пользуются особой популярностью. См., например: *Vincent J. Concepts et contextes de l'histoire intellectuelle britannique: l'«École de Cambridge» à l'épreuve // Revue d'histoire moderne et contemporaine. Т. 50. № 2 (Apr.-Jun. 2003). P. 187–207.*
- 30 В дальнейшем Скиннер будет критиковать и историю понятий Р. Козеллека. См. об этом: *Richter M. The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction. New York; Oxford, 1995.*
- 31 Подробнее см. новейшую работу: *Tripodi P. Dimenticare Wittgenstein. Una vicenda della filosofia analitica. Bologna, 2009.*
- 32 См.: *Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas; Idem. Hermeneutics and the Role of History // New Literary History. Vol. 7. № 1 (Autumn 1975). P. 209–232; Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 10–16.*

## ОСЕНЬ «ФИЛОЛОГИИ», ИЛИ РЕДУКЦИЯ СЛОЖНОСТИ ГУМАНИТАРНОГО СООБЩЕСТВА

*(Заметки постороннего)*

Поначалу у меня были сомнения по поводу уместности моего участия в дискуссии вокруг статьи Сергея Козлова. Во-первых, обладая российским философским и американским социологическим образованием, я не имею прямого отношения к филологии. Во-вторых, сама постановка вопроса, ответом на который является данная статья («Остается ли филология “царицей” гуманитарных наук?»), показалась мне узкоцеховой, точнее цехоцентричной. Действительно, много ли найдется не-филологов, готовых согласиться, что «филология», в каком-либо из известных нам смыслов этого слова, когда-либо была «царицей гуманитарных наук»? Если бы вопрос стоял о том, останется ли филология, скажем, важным ресурсом или даже фундаментом остальных гуманитарных наук, то был бы, по крайней мере, предмет для разговора. В конечном счете, все гуманитарии (включая в какой-то степени и обществоведов) имеют дело с текстами, причем, как правило, на языках, так или иначе отличающихся от (родного, повседневного и особенно научного) языка исследователя, а значит, требующих расшифровки и интерпретации. Однако значимость навыков «внимательного чтения» (*close reading*) еще не означает парадигматичности подходов, считающихся филологическими, для других наук. Даже когда, скажем, лингвистические подходы приобретают такую интердисциплинарную значимость, это происходит, как правило, в результате их перевода на язык философии, иногда социологии. Поэтому нельзя не согласиться с С. Козловым, что поставленный на обсуждение вопрос приближается к вопросу о том, продолжаете ли вы пить коньяк по утрам. Рад, что мои нефилологические интуиции по этому поводу подтверждаются филологом, автором комментируемой статьи.

Статья С. Козлова заинтересовала меня тем, что выходит далеко за рамки первоначальной постановки вопроса для обсуждения, в область проблем прагматики и историографии гуманитарного знания. Возьмем для начала означенную в заголовке тему — «осень филологии». Как мы уже имели возможность убедиться, автор не имеет в виду упадок филологии как господствующей парадигмы гуманитарных наук, ибо такого господства никогда не было. Может, он имеет в виду упадок филологии образца XIX века, основанной на сравнительно-историческом языкознании и чтении классики в оригинале? Или упадок структурализма и семиотики? Или еще недавно процветавшего постструктурализма? Все эти варианты автором статьи вкратце рассмотрены или же упомянуты. Однако к концу статьи у него вообще пропадает семантика упадка из тропа «осень чего-то». Оказывается, мы живем в ситуации совсем неуничтожительно понимаемого «эпигонства» и «эклектицизма»: все указанные выше парадигмы сосуществуют на методологическом рынке филологии как набор доступных для употребления инструментов. Выбирай то, что адекватно твоему конкретному материалу, и работай!

У такой картины есть серьезные резоны, и, более того, она приложима не только к филологическим наукам. Но что же все-таки происходит с темой упадка в метафоре осени? Задаю этот вопрос вот по какой причине: не будучи филологом, я, тем не менее, провел немало времени, общаясь с российскими и

западными литературоведами и историками культуры, и один из сделанных мной выводов состоит в том, что сейчас вполне можно говорить об упадке «филологии» как термина, как способа профессиональной и интеллектуальной номинации и (само)идентификации. Такой упадок, в свою очередь, служит симптомом более глубоких сдвигов в современном гуманитарном знании. Осень «филологии» — это, по-видимому, прощальная песнь не столько какой-то конкретной научной традиции, сколько прочно ассоциирующейся с термином «филология» парадигмы научности, то есть того, как и кто делает науку.

Постараюсь пояснить, что я имею в виду. Когда лет десять тому назад я начинал свои исследования по истории тартуской школы, одним из первых моих впечатлений была поразившая меня тогда эмоциональная маркированность термина «филология», особенно в англоязычном контексте, но часто и в русском. «Филологами» этот термин либо старательно обходилась, либо использовался как критический или даже презрительный «ярлык». Или наоборот, этот термин использовался как знак чести и верности той или иной традиции, находящейся под ударом и нуждающейся в обороне. На нефилологов же упоминание о «филологии» часто навевало тоску и служило для них верным способом преждевременно закончить даже успешно до тех пор развивавшуюся беседу (впрочем, то же относится к «семиотике», но это отдельный разговор). В обоих сообществах «филология» устойчиво ассоциировалась с чем-то педантичным, элитарным, старомодным и нерелевантным. (Не удивительно, что те, кто подчеркивал свою верность «филологии», часто имплицитно соглашались с такими характеристиками, но меняли их ценностную оценку с «минуса» на «плюс».) В лучшем случае изучение «филологии» воспринималось большинством моих собеседников как имеющее исключительно исторический интерес (что, конечно, в отношении тартуской школы звучит как оскорбление).

Нет смысла напоминать просвещенной публике исторические корни такой маркированности термина «филология»: сосюрвовское противопоставление филологии и лингвистики, его восприятие и часто политизация русскими формалистами, французскими структуралистами и постструктуралистами по обе стороны океана<sup>33</sup>. Невозможно упустить также и последствия специализации и «сциентизации» лингвистики, особенно с 1950—1960-х годов, а также где-то частичной, а где-то полной отмены требования читать классические тексты в подлиннике после событий 1960-х годов. В результате имела место не только институциональная фрагментация когда-то относительно единого филологического поля, но и, особенно в англо-американском контексте, почти полное исчезновение термина «филология» из названий департаментов и журналов<sup>34</sup>. Современные английские словари и справочники, как научные, так и общего пользования, часто добавляют к историческим употреблением «филологии» убийственную добавку: *old-fashioned*<sup>35</sup>.

33 Так, Ролан Барт ассоциировал филологию с интеллектуальным «барством» и «голлизмом», в особенности из-за значения, придаваемого классической филологией авторству, подлинности текста, классическому канону и традиции, общечеловеческой и национальной. См.: *Barthes R. The Semiotic Challenge*. New York: Hill & Wang, 1988.

34 Исключения можно перечислить на пальцах одной руки. Департамент франко-романской филологии в Колумбийском университете и журнал «*Philologica*» — это исключения, а не правило.

35 См., например: *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* // <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/philology>.



Конечно, слишком многое выводить из изменившегося употребления даже такого заметного термина не стоит. Тем более, что вне США и Англии остается множество национальных контекстов (в том числе и российский), где официальному статусу этого термина вроде бы ничего не угрожает. Однако не обманчива ли эта безопасность? Не является ли она симптомом расхождения официальных номинаций и реальной научной практики? Не является ли сохранение термина «филология» симптомом отставания от американского флагамена современной науки? Я склонен, скорее, дать положительные ответы на эти вопросы. Судя по всему, эволюция «филологии» в англоязычном контексте является выражением глубоких глобальных сдвигов в структуре и организации гуманитарного знания. Многие из этих сдвигов очень хорошо были освещены в недавней дискуссии в «НЛО» по поводу статьи Кевина Платта: крушение Храма Культуры, маргинализация практики герменевтического вчитывания в культурный канон, демократизация и специализация научного знания и образования<sup>36</sup>. Я же позволю себе закруглить свою мысль цитатой из одного из свидетелей кратко обрисованных здесь процессов, американского классициста Уильяма Харриса:

Мы привыкли не читать, а прочитывать огромный и постоянно растущий объем собранных нашим обществом письменных материалов, мы превратились в экспертов по извлечению смысла из этих материалов посредством отбрасывания конкретных слов, их форм, звуков и их сочетаний как ненужных плевел.

Мы потеряли много внимательных (*close*) читателей и мыслителей, в то время как зрение широкой публики потеряло способность к концентрации, привыкнув фиксировать внимание лишь на две секунды — продолжительность вспышки выстрела в блокбастере. Мы стараемся получить общий смысл сообщения, думаем и покупаем, следуя импульсу, и не читаем мелкий шрифт под нашими личными или общественными обязательствами... Мы не имеем ни времени, ни терпения для всего того, что движется тяжело и медленно<sup>37</sup>.

С. Козлов, скорее всего, увидит в моих рассуждениях критикуемое им навязывание реальной научной практике того, что он называет «дискурсом методологической актуальности». Он считает, что говорить и думать о научной практике в терминах конъюнктуры и актуальности — это дело методологов, историков науки, а также научных начальников, но никак не самих ученых. Научную работу, с ее относительной непредсказуемостью, нужно отличать от методологической / историографической рефлексии над ней, включая навязчивые попытки управленцев и методологов направить, упорядочить и проконтролировать развитие науки и высшего образования.

Нельзя не согласиться, что отличать одно от другого, конечно, нужно. Однако здесь есть опасность реификации в виде жесткой бинарной оппозиции отношений намного более многообразных и поливалентных. И, действительно, разделяет ли рефлексия и практику непреодолимая стена, как получается у С. Козлова? Действительно ли подлинная самоотдача научной работе столь радикально противостоит попыткам стратегического планирования своей вовлеченности в эту работу с учетом как собственно научных, так и

36 См. блок материалов «Антропология как вызов»: НЛО. 2010. № 106. С. 11–64.

37 Harris W. Requim for Philology? Is it too late? Was it never important? // <http://community.middlebury.edu/~harris/Classics/RequimforPhilology.html>.

общественных реалий? Действительно ли можно говорить о едином «дискурсе актуальности» в таких разных практиках, как рефлексия над сегодняшней научной практикой, историческое ее описание, бюрократическая нормативизация или начальственный контроль? Конечно, С. Козлов признает, что конкретный ученый может на каком-то этапе своей карьеры стать, или временно побывать, методологом или начальником, а историк науки выступает одновременно и как практик, и как наблюдатель. Но ему все же хотелось бы подчеркнуть, что «любому сколько-нибудь талантливому ученому», выступающему именно в качестве ученого, чужды соображения о конъюнктуре и актуальности.

Современная философия и социология науки критически относятся к такому образу науки<sup>38</sup>. Справедливо разделяемые автором статьи научные сообщества и институции не соотносятся как «внутреннее» и «внешнее» науки, как собственно научная практика и социальные условия ее бытования. Скорее, и то и другое — находящиеся в постоянном взаимодействии и противопоставляемые лишь «постфактум» аспекты «реальной жизни науки». У всех участников этой «жизни» есть свое понимание сегодняшних приоритетов, своя «ментальная карта» современной науки. Карты отдельных групп ученых могут расходиться с картами методологов и начальников, но то же происходит и между самими учеными. Карты методологов могут быть лучше выписанными, а потому менее гибкими, менее чувствительными к оттенкам и переходам, более склонными к нормативности и даже догматичности. Но бинарной оппозиции здесь нет и не может быть. Как указывает сам С. Козлов, научная практика иногда мотивируется плодотворными односторонностями, а иногда развивается в широких, размытых, «эклектичных» горизонтах.

Хотелось бы быть правильно понятым. Я полностью разделяю лежащий в основе логики С. Козлова этический пафос: ученые должны стараться придерживаться «строго индивидуальных и внутренне независимых решений», а не следовать за модными трендами, как крысы под флейту Нильса из сказки Сельмы Лагерлёф. Но этического пафоса недостаточно для осмысления научной деятельности. Скорее, этот пафос должен сам быть подвергнут анализу, не с целью его «разоблачить» как идеологию, а с целью показать его реальную функцию в жизни научного сообщества. Полагаю, что функция эта состоит не столько в том, чтобы защитить «подлинную науку» (как будто ее границы сами собой разумеются!) от ее идеологических или коммерческих профанаций, сколько в том, чтобы поддержать сложность и многообразие научного сообщества, форм научной работы и типов ученых (и, таким образом, упредить возможные профанации). Вот об этом хотелось бы поговорить более подробно на основе размышлений С. Козлова. О том, как соотносятся между собой мир методологической актуальности и мир ученых-практиков.

Автор признает, что ученые не могут полностью проигнорировать требования научных институций и их дискурс актуальности. Но, с точки зрения автора, для лучших из ученых участие в этом дискурсе — «не более чем динарий кесаря. Это дань, которую практикующие исследователи покорно платят своим начальникам, грантодателям и вообще внешнему миру, — платят за то, чтобы им оставили возможность заниматься любимым делом». Далее

38 См., к примеру, уже классическое противопоставление «симметричных» и «асимметричных» интерпретаций отношений между наукой и обществом: *Bloor D. Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge, 1976; *Latour B. Science in Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

он цитирует Ильфа и Петрова о том, как «...маленькие люди [то есть ученые] торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарищ может найти сбыт».

Соответствующий параграф в статье С. Козлова меня поначалу несколько озадачил. Автор говорит, что вводит цитату из культовых советских писателей для того, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Я же вижу в двух приведенных выше цитатах две разных, даже противоположных парадигмы научности, два разных научных этоса, если хотите. В первом случае ученые рассматривают борьбу и смену трендов как нечто внешнее по отношению к своей работе и пытаются «отделиться» от этих безличных процессов посредством принятия правил игры и показного соответствия ожиданиям «внешнего мира», создавая таким образом для себя укромную нишу, царство относительной научной автономии и интеллектуальной свободы. Во втором случае ученые полностью поглощены задачей угадать, куда дует ветер, и необходимостью время от времени соответственно переупаковывать свой научный «товарец». У них нет потребности в автономии по отношению к «академическому рынку», есть лишь стремление «прожить, не испытывая чувства голода» (Ильф и Петров).

То есть каким-то образом в картине, создаваемой автором разбираемой статьи, слилось два противоположных идеально-типических образа соотношения научных сообществ, институций и соответствующих дискурсов. Я бы сказал, образов, наиболее адекватно реализованных, первый — в позднесоветской науке, а второй — в современной западной науке.

Первая модель отношений ученого и институций наиболее органично реализовывалась в условиях позднего социализма, когда упомянутая выше «дань» часто сводилась к соблюдению ряда предсказуемых ритуалов: пара ссылок на Маркса — Ленина в начале и конце статьи/книги, пара выездов на картошку со всем отделом/кафедрой и т.д. Конечно, я упрощаю, и все было не так просто: выполнение ритуалов и самоцензура не могли не оставить отпечаток на том, как «любимое дело» практиковалось и даже определялось. То есть совсем отделить практику от ее репрезентации и регламентации («социальный заказ») было невозможно. Тем не менее отчетливое *ощущение* возможности отделиться, или отделаться, от «внешнего мира» было, и основывалось оно в первую очередь на противопоставлении «их» и «нас», официальных иерархий ценности и неформальных, «наших», «своих» критериев актуальности и значимости. Так или иначе, при позднем социализме имело смысл верить, что «любимым делом» можно заниматься в свободное от ритуальных телодвижений время.

Вряд ли, однако, такое мышление соответствует реальности научной работы и даже самосознанию большинства ученых-гуманитариев на современном этапе, по крайней мере в хорошо знакомой мне западной науке. В отличие от ожиданий позднесоветского официоза ожидания современных начальников, грантодателей и вообще «внешнего мира», то есть академического и всякого рынка, менее стандартизированы, менее предсказуемы, более изменчивы, полны нюансов, а значит, хуже поддаются манипуляции «снизу». В научной статье недостаточно просто упомянуть или процитировать Бахтина или Фуко. Нужно еще найти незаезженную цитату, вставить ее не слишком рано и не слишком поздно. Нужно знать или правильно угадать, как себя и свою работу подать тому или иному работодателю, грантодателю, просто полезному члену «сети» — эта категория сейчас выполняет функцию того, что при социализме называлось «связями» и «знакомствами». Только сети —

намного более всепроникающи, менее прозрачны, и по отношению к ним сложнее выстроить рефлексивную дистанцию. То же относится и к попытке «отдать дань» конъюнктуре в современной науке. По крайней мере до тенюра<sup>39</sup>, а то и после его получения ученые тратят слишком много времени на то, чтобы отдать эту дань, так что на «любимое дело» времени уже не остается. Точнее, нет времени (а также, в возрастающей мере, желания и соответствующих культурных ресурсов) для того, чтобы выстроить саму дистанцию между «любимым делом» и следованием правилам академической игры. В лучшем случае сама эта игра становится «любимым делом», но, как правило — утверждаю, основываясь на личном опыте общения с рядовыми западными учеными, — категория «любимое дело» даже не входит в их личный словарь. В наше время быть ученым, по словам Рэндалла Коллинза, значит иметь «вполне приличную профессию, довольно высокий уровень жизни»<sup>40</sup>. Такой образ научной карьеры разделяет не только широкая публика на Западе, но и многие «молодые», и не очень, ученые. «Любимое дело» — это что-то из репертуара советской интеллигенции.

Таким образом, в отличие от идеи «выплаты дани» как чего-то отличного от «любимого дела» приводимая Сергеем Козловым формула из Ильфа и Петрова описывает реальность современной науки намного лучше. А к типичным мотивам ученых практиков, перечисляемым автором, — таким как обнаружение неисследованного, предпочтение интересного скучному — нужно бы добавить более или менее осознанное стремление понять, куда дуют ветры, чтобы быть лучше услышанным и понятым или, если хотите, чтобы «продать свой товарец подороже». (Выбор конкретной формулы во многом зависит от точки зрения и запаса цинизма у наблюдателя.) Иначе говоря, в противоположность С. Козлову, я не стал бы утверждать, что «дискурс методологической актуальности», или попросту стремление соответствовать моде, — это дискурс исключительно научных институций, а не ученых. На самом деле этот дискурс сейчас в разной степени разделяют все. Ученые могут не соглашаться с начальниками и грантодателями, но это не означает, что только последние мыслят в терминах актуальности и конъюнктуры (даже если соответствующие термины табуированы в среде ученых).

От этих рассуждений на кого-то может повеять ностальгией по доброй старой элитарной науке. Если бы я ностальгировал, то полагал бы, что такая «коммодификация» неминуемо ведет к понижению стандарта научности. Однако это не так. Сближение языка научной коммуникации с языком фондового рынка и моды каких-то однозначных последствий для науки не имеет. Способность грамотно выстраивать свои сети, быстро «выдавать на гора» научную продукцию и уметь правильно позиционировать свои труды на академическом рынке — все эти, по сути, предпринимательские таланты совсем не противоречат способности что-то путное или даже действительно важное создавать в науке. В пике романтического снобизма, я уверен, что Предприниматель, тем более талантливый, вполне может быть и хорошим Ученым.

Проблема возникает тогда, когда такой предпринимательский этос в науке становится нормативным, требуется не только для того, чтобы преуспеть в

39 Тенюр — это гарантия того, что преподаватель не будет уволен до ухода на пенсию; ключевая форма институализации академической свободы в американской университетской системе.

40 Интервью с Рэндаллом Коллинзом (записал М. Вальдштейн) // Социологические исследования. 2010. № 3. С. 23.

науке, получить доступ к максимуму ресурсов, но и даже для того, чтобы просто иметь возможность заниматься научной работой профессионально. Боюсь, что в такой ситуации очень многие рядовые и даже крупнейшие ученые прошлого оказались бы просто без работы (как инженер из замечательного фильма «Мечта» Михаила Ромма). Помнится, один мой американский профессор-социолог после разбора статьи Макса Вебера (сейчас неважно какой) предложил нам, аспирантам, провести мысленный эксперимент: представьте, что было бы, если бы эта статья оказалась на столе редактора издательства или журнала соответствующего профиля. После обсуждения мы пришли к выводу, что работа классика вполне могла бы быть отвергнута современным издательством или журналом по многим причинам: несоответствие формата, стиля, элементов содержания. К сходным выводам я пришел, общаясь с М.Л. Гаспаровым, В.Н. Топоровым и некоторыми другими коллегами Ю.М. Лотмана. Многие характеристики представляемого этими научными авторитетами типа ученого наверняка послужили бы препятствием в их карьере в современной (по крайней мере, американской) науке. И дело не столько в их взглядах, сколько в представляемом ими «типаже» ученого. Осторожность или даже застенчивость в общении, отсутствие вкуса к саморекламе, «глубокая культурная память» при склонности к детализированному, «педантичному» анализу, малая «плодовитость» (в отдельных, не упомянутых выше случаях) — эти и другие характеристики с высокой вероятностью послужили бы препятствием для карьерного роста, если не самого трудоустройства в науке.

Конечно, в случае наиболее ярких талантов такого «неформатного» типа наверняка и сейчас находятся пути их инкорпорации в науку. Некоторые ученые столь яркие, что их просто нельзя не заметить, и им их «неформатность» прощается. Другие — достаточно яркие, чтобы у них объявились «патроны» или «друзья», готовые взять на себя всю крайне важную сейчас предпринимательскую сторону научной работы. Что, однако, делать людям того же «неформатного» типа, но с более «средними» способностями? Ведь «средние» (не путать с «посредственными»!) люди составляют большую часть любого, в том числе и научного, сообщества; они воспроизводят его, являются той почвой, без которой никакие по-настоящему оригинальные идеи не произрастают. Так вот, этот «средний класс» сейчас сильно меняется. Место широкообразованных культурных людей, интеллектуалов и эрудитов, даже просто «непрактичных интеллигентов» в науке занимают предприниматели и эксперты, а место традиционных филологов занимают когнитивные лингвисты и специалисты по *cultural studies*. Само по себе это, может быть, даже и хорошо. Но опасно то, что происходит постепенное обеднение гаммы возможных и допустимых стилей научной работы и типов ученого. Происходит редукция сложности научного сообщества, которому нужны не только *early-bloomers*, но и *late-bloomers*<sup>41</sup>; не только те, кто чувствует себя как рыба в воде в конкурентной гонке, но и те, кому требуется для творчества одиночество или общение в узком кругу; не только те, кто способен выдавать на гора, но и те, чьи мысли дошли до нас во многом лишь благодаря усидчивости и негордости их студентов.

Советскую культуру и науку не раз, и вполне справедливо, обвиняли в попытке уравнивать, подвести разных людей под один ранжир. Тем не менее в советской науке существовало огромное множество типов и стилей работы.

41 Те, чьи таланты раскрываются в полной мере, соответственно, рано и довольно поздно.

Человек мог реализоваться как ученый в институте Академии наук или в университете, в теоретических или прикладных исследованиях, можно было быть в первую очередь (или исключительно) исследователем или преподавателем, или же популяризатором знаний, или же переводчиком (западных идей и текстов). Можно было концентрироваться на работе в формальных институтах, а можно — блистать на всевозможных домашних семинарах и летних школах, при этом продолжая числиться формально в научных институтах. Разнообразие ниш, в которых протекала работа ученых, лишь в отдельных случаях было частью научной политики властей. В основном же оно было непредсказуемым результатом этой политики и реакцией на нее. Тем не менее, в целом, реализуемое государством «право» граждан на трудоустройство по специальности понижало накал конкуренции и создавало условия для участия в науке людей с самыми разными не только по уровню, но и по характеру талантами.

Конечно, не стоит идеализировать. Позднесоветская научная система вызвала справедливые нарекания, и не только за идеологичность, но и за иерархичность, за (до сих пор не решенную) проблему переполненности нефункциональным балластом, «случайными людьми» и т.д. И все же, глядя из современной ситуации в западной науке, эта система кажется царством «цветущей сложности»: недостаток плюрализма мнений компенсировался многообразием форм и стилей «бытия ученым», при наличии известной стабильности условий работы. В современной же западной гуманитарной и общественной науке «нормальная» траектория ученого все больше сводится к, по сути, единственному варианту: аспирантура — *tenure-track position*<sup>42</sup> — тенюр. (Конечно, монотонность этой траектории иногда перемежается благотными вкраплениями постдоков и *sabbaticals*<sup>43</sup>, а в американской системе сохраняется очень удачное различие между колледжами и исследовательскими университетами. Все это, однако, не противоречит указанной выше тенденции к стандартизации и упрощению.) Каждый шаг на этом пути, включая обеспечение постоянного шквала публикаций и получение престижных грантов, требует непрестанного изобретения все новых способов подачи и продажи себя и своего продукта. Такой механизм ведет к массовому отбору вполне конкретного типа ученого, ученого-предпринимателя, способного эффективно проецировать разные образы себя соответственно требованиям ситуации и аудитории. Такая душевная эластичность называется «креативностью», а способность обеспечить самоподдерживающуюся цепочку успешных самопрезентаций называется *excellence*. Все, кто не выходит «отличником» в этой гонке, выбрасываются в подземное царство еще более непредсказуемых и к тому же тупиковых временных позиций и почасовых ставок. Среди неудачников есть, конечно, и «дураки» (которых, прошу меня простить, полно и среди победителей), но, учитывая, что многие из этих «лузеров» имеют докторскую степень, несколько заметных публикаций и т.д., это, скорее всего, те самые неформатные типы, которые в прошлом составляли стеновой хребет научного сообщества. Вот так, в общих чертах, мне видится совершающаяся сейчас редукция сложности научного сообщества.

42 В отличие от временных и приглашенных преподавателей, ученые, имеющие такую должность, имеют шанс получить тенюр.

43 *Sabbatical leave* — это продолжительный, как правило (частично) оплачиваемый работодателем отпуск, который ученые обычно посвящают до тех пор откладываемой работе.

В применении к проблеме «осени филологии», из этого схематичного обзора можно сделать следующий вывод: как и С. Козлов, я не считаю, что «науки филологического цикла» находятся в каком-то особом кризисе (хотя бы потому, что они сейчас не теряют никакого «царского» достоинства; его у них и не было); тем не менее в кризисе находится «филология» постольку, поскольку с этим термином прочно ассоциируется определенный стиль научной работы и типаж ученого. По множеству причин, включающих демократизацию высшего образования и относительную маргинализацию «высокой» письменной культуры, эти и прочие стили и типы уходят на периферию или даже за границы науки. Такие изменения открывают новые перспективы для развития науки, но и чреваты опасностями, такими как коммодификация отношений внутри науки и между наукой и «миром», а также сужение человеческого и культурного капитала, составляющего базу и потенциал научной деятельности.

Я осознаю, что все эти рассуждения ставят проблем больше, чем решают их. К примеру, остается неясным, насколько описанные выше тенденции неизбежны и есть ли им альтернатива? Каковы конкретные значение и (реальные и возможные) последствия этих процессов для автономии гуманитарного знания и для содержания и стилистики работы в таких науках, как лингвистика, литературоведение и культурная история? Насколько американский *case* обладает диагностической и прогностической силой по отношению к остальному миру, к России в частности? Стоит ли российской науке сопротивляться тем или иным аспектам упомянутых выше тенденций и в чем такое сопротивление может состоять? Обсуждение этих и других вопросов, очевидно, выходит за рамки этих явно затянувшихся заметок.

Б о р и с   Д у б и н

## И С Н О В А   О   Ф И Л О Л О Г И И

Начну с уточнений «паспортички», чтобы сразу было понятно, в каком качестве и из какой точки я говорю. Филолог я лишь по выданному в 1970 году университетскому диплому, однако в качестве практикующего «преподавателя русского языка и литературы и французского языка» (формулировка диплома) никогда не работал. Я изучал литературу как социолог; среди многообразных взаимоотношений вокруг и по поводу самой идеи литературы, а также различных исторических, ролевых, групповых, институциональных и прочих воплощений этой идеи больше всего имел дело с поведением читателей и, уже в гораздо меньшей степени, издателей, книготорговцев и библиотечных работников, литературных критиков и преподавателей литературы, наконец, историков словесности, в частности отечественных историков отечественной же словесности. Опыт в этой последней сфере у меня совсем небольшой, и суждения в его связи будут совсем краткими. В какой-то мере, и даже в более развернутой, аргументированной форме, привязанной, кроме того, к конкретной ситуации в филологическом сообществе, они, вообще говоря, были продуманы и изложены в начале 1980-х годов — в наших совместных с Л. Гудковым выступлениях на тогдашних Тыняновских чтениях, в общих же статьях в первых Тыняновских сборниках и в переписке

с М.О. Чудаковой (эти письма также опубликованы)<sup>44</sup>. В качестве следующей хронологической точки готов назвать тот же «круглый стол» 1995 года об отношениях филологии и философии, который упоминает Сергей Козлов и на котором мы выступали с ним оба. Не могу сказать, что ситуация в филологии с тех пор — возьмем ли мы первые пятнадцать лет, 1980—1995-й, или столько же последовавших за ними — серьезно изменилась в обнадеживающую сторону. «Эх, время, в котором стоим», — говорили герои давнего романа Фазиля Искандера. Между тем, годы минули немалые и уж никак не стоячие.

Вот несколько соображений по предмету намеченной дискуссии, из которых я сегодня исхожу.

1. Насколько я вижу, современные филологи — исключения единичны и не образуют системы, героизировать их я бы никак не хотел — по-прежнему упорно не интересуются современной литературой; в этом, отмечу, их кардинальное отличие от опоязовцев, сделавших притом и для истории, и для теории литературы как мало кто. Между тем, без такого интереса, без ценностно-направленного, выделенного отношения к *современности* нет и *истории* как открытой структуры, результата выбора со стороны индивидов и групп, поля их самостоятельных действий, инстанции личной и взаимной ответственности. Невозможна в таком случае и *теория*. Характерно, что ни идеи (конечно, идей!) истории, ни идеи (конечно, идей!) литературы в отечественной филологии нет, и не просто нет по факту, но в них, кажется, никто не испытывает ни малейшей нужды: вопросов на сей счет я не слышу. Для меня в высшей степени показательно также, что о любом значительном сегодняшнем поэте или прозаике, скажем, поколения сорокалетних во Франции, Испании, Португалии и Латинской Америке, Великобритании и США, Польше, Чехии и Венгрии я найду не по одной аналитической монографии филолога, а об их сверстниках в России, и блестящих, — в лучшем случае литературно-критическое эссе, а чаще рецензию или абзац в толстожурнальном обзоре. Без работы с современностью, интереса к ней не возникает вопросов о том, что такое литература (вот *эти* или *эти*, например, образчики словесности), идей литературы, а без идей литературы (вопросов к литературе) не получается — и не получится! — разглядеть современность.

2. Дело в том, что, отстраняясь от современности, наблюдатель устраняет точку (место), где находится и откуда говорит. Понятно, за счет этого он получает привилегированное положение внеаходимости. Его нигде нет, и он ни за что не отвечает — наследник всего, но безответственный, не отвечающий ни перед кем. Он обеспечил себе полное *алиби*. Поэтому у него и нет вопросов: все вопросы, которые есть, не его, а чужие, для него они — разве что ответы. Наш герой и берет их там и тогда, где и когда ему это нужно, как *ответы*, выбирая подходящий или подгоняя задачу под него: не исследователь, идущий по следу дальше, ведя линию туда, где ничьих следов еще нет, а наследник, пришедший на готовый чужой след.

3. Тем самым, наблюдатель не просто изымает себя из коммуникативной ситуации вокруг и по поводу литературы. Он разрушает (делает принципиально невозможной и ненужной) саму эту, всегда недоразрешенную, а не-

44 См.: Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 113—124; Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 208—226; Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 295—310.



редко даже неразрешимую, ситуацию модерна и литературу как ее, этой проблематичной ситуации и современной эпохи, важную составную часть. Собственно говоря, литература как открытость / открытие ему не нужна (почему он и поворачивается спиной к современной словесности). Ему нужно наследие, важно осознавать себя наследником и распоряжаться как наследник.

4. А раз так, то у описываемого здесь обобщенно-типологически филолога не возникает вопроса о том, как вся эта система значений и отношений (литература в системе коммуникаций) складывается, во-первых, и воспроизводится, во-вторых. Можно сказать по-другому: не встает вопрос о языке, языке-системе, многочисленных языках, на которых о литературе говорят, удастся хоть с кем-то и хоть как-то говорить, — язык также берется на правах готового. А именно: филолог *преподает* литературу (допустим даже, что он — *хороший* учитель) и считает свою задачу этим выполненной. А ученики — они согласны? Их это вообще интересует? Убеждает?

5. Между тем, вся описанная совокупность безоговорочных, но по-своему связанных (именно безоговорочностью, естественностью, само-собой-разумением связанных и принятых как факт) допущений, умолчаний, подразумеваемых и их следствий в российских условиях 1990-х годов — мировую ситуацию сейчас не рассматриваю, тут, мне кажется, процессы иные, хотя результаты могут показаться сходными — нужно признать, полностью развалилась. Легенда о *литературоцентризме* русской культуры улетучилась в один день, когда тиражи ведущих литературных журналов сократились — как минимум! — на два нуля и сопоставимы теперь с населением трех-четырех многоквартирных домов (девять этажей, десять подъездов) где-нибудь на окраине Москвы или Петербурга. *Школа* и преподавание литературы в ней — читай, обычный преподавательский состав, его представления о словесности, в том числе текущей, и отношения с учениками, и без того не походившие на Касталию, — больше всего напоминают теперь, кажется, урок грамматики в «Недоросле». Литературные *премии*, даже самые раскрученные и денежные, нимало не задевают оставшихся в стране читателей, которые ориентируются на суждения «своих», попросту давших им в руки *вот эту* книжку, — остальные же (включая людей с вузовскими дипломами) прочно перешли на *телевизор*, и не смотрят его, а на него *поглядывают*, тогда как их дети в той же функции используют *компьютер*. Словом, некоторая обеспокоенность филологов, встревоженных перспективой потери социального места и культурного лица, кажется объяснимой и небеспочвенной.

6. Что же в этой ситуации предлагается? Ограничусь лишь двумя вариантами обсуждаемых стратегий выхода.

Первая — «эпигонство и эклектизм», к которым приводит в конце своего рассуждения Сергей Козлов. Не имея совершенно ничего против того и другого — «Anything goes», — замечу только, что речь опять идет о подборе отверток получше (правда, уже не одной универсальной отвертки!), то есть о методах, а не о проблемах. Отталкиваться от Элиаса, Бурдьё или от кого-то еще — ход, который может оказаться вполне плодотворным. Но только если прояснены ценности этого исследователя, направлявшие его интерес, если принята в учет его проблемная ситуация, тот разрыв «естественного» понимания, который породил у него именно такие вопросы (гипотезы) и т.д. Лишь тогда исследователь вправе сказать, вслед за поэтом: «Там, где они кончили, ты начинаешь». Вне всего этого Элиас или Бурдьё, для которых — в их биографических, исторических, институциональных, познавательных и множестве других обстоятельств — «цивилизация» и «культура» оказались под

вопросом, стали задачей, а не отгадкой, будут попросту разобраны фанатами на яркие цитаты, модные фенечки, примеров чему несть числа. Реальную роль «личной интуиции» исследователя, о которой напоминает С. Козлов, в каждом конкретном исследовании тоже вряд ли кто станет отрицать, но только она никак не годится в качестве генерального методологического принципа: она ведь тоже — острый вопрос, а не готовый ответ.

Другой стратегический вариант — заявка на «антропологический поворот». Этот ход, кто бы сомневался, также способен дать (да что там, уже не раз давал) интересные, значимые результаты. Но именно поэтому стоило бы уточнить набор его предпосылок и границы возможностей. Когда историк Мишель де Серто углубляется в повседневные маршруты современных горожан или практики их готовки, а этнолог Марк Оже садится на велосипед или спускается в метро<sup>45</sup>, они анализируют те мельчайшие зазоры и разрывы в регулярной работе анонимных институтов и коллективных структур современного «развитого» общества, без кропотливого персонального освоения, без приживления и прилаживания которых к каждому конкретному индивиду с его запросами, привычками, странностями и т.д., а значит, без посильного усовершенствования силами каждого — эти институты и системы попросту бы не существовали, не могли действовать. Индивидуализм, соревнование, солидарность («свобода, равенство, братство») — в самой их основе. Так что Серто и Оже — могу назвать еще многих других — изучают, если угодно, состав «смазки», без которой не работает современное и постмодерное хорошо структурированное общество. Ясно, что рядом с ними трудятся исследователи институциональных структур этого общества, его периферийных отношений, элитных групп, социальной и культурной динамики, глобального контекста и многого другого, во что Оже и Серто *именно поэтому* могут позволить себе не углубляться.

Между тем, российская ситуация — говорю сейчас только о нынешнем дне — устроена во многом иначе; если совсем коротко, она держится, среди прочего, на принципиальной неопределенности работы институтов, набора и взаимоотношения норм и уклонений, прав и обязанностей. Ресурсы и возможности такого как бы аморфного, а точнее — недоопределенного состояния (смазь тут — характерное состояние, а не случайный сбой) как раз в силу его непроявленности или нечеткости сравнительно неплохо используются «своими», поскольку ими созданы и на них рассчитаны. Никакого изменения и усовершенствования такая неопределенность не предполагает: она предполагает, вернее, жестко задает лишь адаптацию к наличному (переведенная в смысловой регистр легенды или мифа, эта совокупность обстоятельств принимает героизированный вид «особого пути» страны, «особого характера» человека и тому подобных претензий на исключенность из общего мира и исключительность собственного места).

Кроме того, антрополог, переводя профессиональный взгляд с «традиционного общества» на современное, видит в окружающей реальности — как в племенном обиходе — единый опыт *всех и каждого*. Если в полевом исследовании *чужой* культуры он дистанцирован от нее самим фактом инокультурной принадлежности и профессиональной ролью, то на современном материале эти разделительные черты ослабевают. Отсюда не раз отмеча-

45 *Certeau M. de a.o.* L'invention du quotidien. Vol. 1/2. P., 1980; *Augé M.* Un ethnologue dans le métro. P., 1986; *Idem.* Le métro revisité. P., 2008; *Idem.* Éloge de la bicyclette. P., 2008.

шийся в методологии социального знания соблазн подставить под факты наблюдаемого поведения *других* собственный опыт ученого как *такого же* под видом категорий «здорового смысла», «вживания», «интуиции» и проч.<sup>46</sup>

Антропологический подход отлично справляется с фиксацией привычного, в этом смысле — прошлого, точнее, настоящего как прошлого, повторяющего прошлое, и хорошо анализирует процессы рутинизации, но останавливается и буксует перед конструкциями предвосхищения, образами будущего, феноменами динамики, не говоря уж о сломе или, как любил говорить Ю.А. Левада, «аваланше». Между тем, как отмечал опять-таки Левада, все большее значение в современном мире приобретают именно прожективные аспекты индивидуальных и коллективных действий, предвидение их последствий и т.п.; в различные способы и формы активнейшего освоения этой проблематики образно-символическими средствами литературы, кино и других сегодняшних искусств входит сейчас не стану.

7. Повторюсь: сказанное вовсе не значит, будто «антропологический поворот» или «искусственный и умный эклектизм» бесперспективны либо непригодны, а то и, не дай Бог, вредны. Дело, как уже было помянуто, благое, и любое начинание — на пользу. Я говорил совсем о другом: о гуманитарных исследованиях *современности*, включая настоящее и будущее, о гуманитарии *вопросов*, а не ответов, если хотите — напоминая себе и заинтересованным коллегам об *удивлении* как начале всякого познания. Один из более чем редких примеров такой работы для меня — только что вышедшая книга Елены Петровской<sup>47</sup>, где в форме *курса лекций* развернута возможная *программа* визуальных исследований. И с чего же она начинается? Автор буквально на первых страницах напоминает толстовский вопрос «Что такое искусство?» и обсуждает его далее, отталкиваясь от идей предшественников — как сравнительно известных в наших палестинах (скажем, Морис Мерло-Понти или Ролан Барт), так и совсем малознакомых отечественным гуманитариям (Жан-Люк Марион или Мари-Жозе Мондзен). Важно направление движения, а оно, можно сказать, бодлеровское: «Неведомого в глубь», — книга, напоминаю, представляет собою лекционный курс. Не зря автор исходит из таких тезисов: «...мы не можем довольствоваться изображением как набором знаков, подлежащих дешифровке». И дальше: «...в основание исследований визуального должно быть положено то, что к самой визуальности — то есть зримости, наглядности — имеет не прямое отношение». Готов ли кто-то среди филологов (или, скажем, искусствоведов) начать с таких начал — задаться подобными вопросами и углубиться в реалии сходного рода?<sup>48</sup>

Кстати, спрашивать филологов-предшественников в наших условиях, кажется, берется не филология, а философия. Тут я имею в виду две последние книги Натальи Автономовой<sup>49</sup>, особенно вторую, где *под вопрос* ставятся Р. Якобсон и М. Бахтин, Ю. Лотман и М. Гаспаров (автор отмечает, что по

46 См. об этом: *Гудков Л.* Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии // Он же. Абортивная модернизация. М., 2011 (статья середины 1980-х гг.).

47 *Петровская Е.* Теория образа. М., 2010.

48 С вопроса «Что такое поэзия?» начинает свои «Лекции по философии литературы» (М., 2005) Григорий Амелин; обращаю внимание на лекционную природу его книги, посвященной памяти легендарного лектора Мераба Константиновича Мамардашвили.

49 *Автономова Н.* Познание и перевод. М., 2008; *Она же.* Открытая структура. М., 2009.

отношению к структурализму отечественными гуманитариями принята поза давно пройденного и оставленного в прошлом, тогда как Якобсон, Лотман, Гаспаров по-настоящему даже не прочитаны). Показательно и обращение философии — снова не филологии! — к проблеме *перевода* как возможному фокусу мультидисциплинарных исследований в недавних работах, еще раз назову те же имена, Елены Петровской и Натальи Автономовой.

Общий предмет подобного рода разноплановой и многоподходной *вопросающей* работы, условный пункт ее сборки я бы (с учетом антропологического поворота и в ясном понимании множества других, параллельных траекторий поиска) определил как человека коммуникативного. А в основу предложил бы — в сравнительно-типологическом плане — положить вопрос, с одной стороны, об условиях возможности коммуникаций в различных обществах и культурах, разных структурах и модусах действия, начиная со «здесь и сейчас», а с другой — о механизмах динамики и воспроизводства этих модусов, структур и, наконец, самих условий в наших нынешних обстоятельствах, равно как и в обстоятельствах, нам еще только предстоящих.